
разбойничьи
сказки






# Разбойничьи сказки

Пересказал
ВЛАДИМИР ЦЫБИН

МОСКВА
СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ
1993

*Художник В. А. НИКИТИН*

Р17 **Разбойничьи сказки.**— Москва: Современный писатель, 1993. — 160 с.

ISBN 5—265—03081—6

Известный поэт Владимир Цыбин родился в казачьей семье, где умели не только пахать и размахивать шашками... По вечерам в семье иногда пели песни и вспоминали о старине глубокой... Все это откладывалось в памяти. Плюс к этому в студенческие годы поэт серьезно занимался истоками устного народного творчества. В зрелом возрасте были обработаны сказки. В каждой сказке есть характерный для ее сюжета Разбойник. Но Зло и Добро идут рядом, и Добро, как правило, побеждает.

Примечателен язык сказок. Он максимально близок крестьянскому народному говору. Всевозможные прибаутки, колдовские и знахарьи заговоры как бы завораживают читателя, приобщая его к образному миру отражаемого Времени.

**4803000000—038**
**Р ———————— Без объявл.** **ББК 84 Р 7**
**083(02)—93**

# ПРО КЛАД И ЗАКЛАННУЮ ДУШУ



Красна сказка складом, а песня-быль — ладом. В жизни это было и сказкой стало.

Жил-был такой человек — плотник Василий-вдовец, честный и добросовестный что в деле, что в совете. И был у него сын Ерофей, по прозвищу Соловей, потому что с детства владел разбойничьим свистом-по́свистом. Подберется, бывало, к кому-нибудь сзади, заложит два пальца в рот, так тот чуть ли не на сажень от испуга подпрыгнет, а иной обомрет — обморочный, как есть обморочный.

— Видно, на роду тебе написано быть разбойником, — сказал ему огорченный крестный. — И

свист у тебя жуткий, и вид угрюмый, и нрав супротивный.

— А что? Дело. Чем корячиться на земле, как вы, землю коптить по-черному. Ты, дядя, муравей, а я — соловей.

Плотник Василий огорчался за сына да махнул рукой: не хочет учиться его плотницкому мастерству — и пускай его, махнул рукой на сынка по своей слабохарактерности.

А Соловушка, буйная головушка, едва пробились у него усы, с утра до вечера бражничал с дружками. А потом бездельники, взяв колы в руки, гоняли смирных прохожих, лазали по чужим дворам да огородам. Стали в селе все чаще кражи да пропажи. А вскоре и лошади начали пропадать.

— Кум Василий, — обращались к нему соседи, — мы против тебя самого ничего не держим. Ты стар и сил у тебя нету укротить отпрыска. А посему пусть он подобру-поздорову уходит из села. Мы ему уже и деньги собрали на дорожку.

Позвали Соловья. Тот исподлобья просверлил их глазами: не глаза, а угли раскаленные. Старики разъяснили ему, что сельский мир приговорил его на уход из здешних мест. Вручили ему деньги и проводили за околицу.

— Иди, Соловей, не возвращайся. Мочи нет дольше проказы твои терпеть. — И поддали на дорожку, чтобы бежалось быстрее.

— Вы еще меня попомните! — попрощался с ними Соловей. — Теперь у меня вместо батюшки — ворон.

Ушел — как камешек в воду канул.

А через три года в соседней губернии объявился атаман по прозвищу — Журавлиная лапка. Так люб был атаман шайке, что прозвали его

«лапа», что значит любый. А журавлями по разбойничьему обычаю звали злодеи себя, мол, мы — перелетные птицы. Другие — звали себя гусями, иные — глухарями.

И все же больше прозывали атамана того Соловьем по старой памяти: известно, слово ходит своими путями, а прозвище — как клеймо.

Говорят, что была у Соловья Васильевича любовь — лютая, волчья.

В одной усадьбе, которую подступился Соловей грабить, увидел он в саду девицу-пригляду, писаную красавицу: очи голубиные, походка лебяжья. То ли птица, то ли песня. Стало сердце у него от любви словно подвешенное.

Вышел из-за дерева к ней Соловей.

— Как звать тебя? — спрашивает.

— Была уткой, зовут Зовуткой. Имя мое летает, а где — и сама не знаю, — так сказала, словно медом по сердцу написала.

— Знаешь что, полюби меня, девица, — просто сказал ей Соловей, потому что давно уже одиночество заблудилось в его сердце.

А была та девица сиротой, приемышем у господ. И стал приходить к ней тайно в боковушку Соловей, а она ему играла песни. Руки у нее были легкие: дунет ветерок — подымаются, как крылья, будто хотят полететь. А пальцы похожи на свечи. Возьмет гитару — и струны сами ходят волнами под пальцами, звуки вспархивают.

Полюбил Соловей, отмяк сердцем и к людям. Не знал он прежде, что жить — это себя узнавать. И он чувствовал, что его душа — в звериной шкуре.

Все реже выходил он на разбой. Сотоварищи уже решили отказаться от его атаманства. Кто из них не был молод?

Все тучки, тучки понависли,
И с моря пал туман.
Скажи, о чем задумался?
Скажи нам, атаман.

Так пели они в своих скрытных берлогах. И сердце атамана щемило — не могло оно отречься ни от вольной жизни, ни от Зовутки. Два сквозняка продували его душу. А кто он и чем промышляет, не мог признаться своей зазнобе, а говорил, что ходит коробейником.

Может быть, и ушел бы от разбойников Соловей. Но кто-то из недругов Соловья напустил за Зовутку порчу, стала она чахнуть. А потом и того хуже. Легла она однажды спать и стала ровно замороженной. Лежит — не шелохнется. Врачей господа позвали, те не поймут, что с ней приключилось. А знахари сказали, мол, обморочь — такая болезнь, человек умирает весь, а не головой.

Богобоязненные старушки определили по-своему:

— Чей-то страшный грех лег на нее.

А весной Зовутка застыла навсегда, и похоронили ее на кладбище. Кто-то говорил, что спустя месяц кто-то страшно и надсадно кричал из ее могилы.

Узнал об этом атаман, ушел в лес и там заплакал, слезы потекли — и тут же почернели. Имя ее, как иней, таяло на сердце атамана.

Лег он вверх лицом к небу и увидел облако, а на темени того облака — птица. Захотел заплакать атаман, а и слез уже не было — все сгорели в нем.

С тех пор Соловей Васильич совсем переменился, вернее — вспомнил старое свое житье-бытье, пил с утра до ночи и пьяный лютовал на

дорогах. И все больше — один. Только на большое дело выводил свою шайку, а потом отпускал по домам.

Знающие люди сказывали, что Соловей Васильевич разъезжал на диком, под стать ему, злобном коне, который сам загрызал людей. Вот едет Соловей — конь у него хвостом след устилает, долы и горы промеж ног пускает.

Шайка у него была большая, но рассыпанная по деревням. Надо собрать, так свистнет — весь скоп тут как тут. Много невинных христианских душ погубил он. С кого живым кожу снимет, кого в котле сварит. А сам жил в лесу, на перекрестке, где черти яйца катают, в свайку играют, где кикимора свою пряжу прядет, где уши чешутся у лешего к дождю, за разлужистыми отвершками, что в топи уводят, в черной землянке без двора, без кола, на печи сырой. Скучно ему жить одному. Брагу шубой прикроет — шум на всю избу пойдет, а он слушает и тешится, будто убиенные им души слышит.

Мимо того темного леса не то что люди — птицы боялись пролететь. А прозывалось то место берложье — Волчья Ягода. Трава там вся красная от ягоды, и мхи там красные на деревья ползут, поедают стволы. Возле того места, где жил Соловей Васильевич, ручей под мертвым камнем стынет, не живой ручей — без имени, без души. У ручьев свои души текучие из шепота и звона. А этот тихий, да такой тихий, что слышно, как трава расти не хочет. У кого хочешь захолонет сердце смрадным страхом, если нечистый заманит туда в недобрый час.

Так и жил бы и лютовал разбойник, да случилось, что однажды незнакомый купец заплутал в лесных плутинах. Долго водил его бес по топям

и мхам. Где лес — там бес, не зря сказано. Вот уж и ночные мглы обступили его. Болотная испарина выпалывала глаза, обметала небо душным паром. И тут увидел купец в тумане огонек не огонек, а бледное пятнышко и направил туда свою повозку, выехал к землянке, в дверь постучал купец-бедолага.

Вышел хозяин, жилистый, сутулый, но тяжелый на шаг, дверь широко растворил — заходи! Посадил гостя в красный угол, сам выпряг лошадей, задал корму, повозку с товарами закатил под наветь. Да что там, дроги к избе не приставишь.

Позвал ужинать хозяин купца, вином поит вдоволь. Гость хотя без желанья, но пьет. А что делать? Гость подневольный человек: где посадят, там и сядет.

Вот захмелел хозяин, взял в руки гармонь, сам поет, сам себе играет, сам подплясывает:

**Все тучки, тучки понависли,**
**А с моря пал туман.**
**Скажи, о чем задумался?**
**Скажи нам, атаман.**

— Любо пою? — спрашивает.

— По погудке и пляска, — ответствует купец. — Понятно, что по приветливости радуешься.

Постелил хозяин заезжему постель, а сам на полу лег: вот как, мол, уважаю.

Старый купец еще спал, когда хозяин его лошадей напоил, подсыпал им овсеца, подмазал колеса, выпил чарочку «попутную», дорогу указал верную, рукой махнул, а глаза у него нехорошие стали, словно мучь больная в него вступила. А еще подметил купец, что в избе у хозяина желез-

ные часы время секут, дым из избы не идет, по углам прячется.

Только старый купец стал подыматься из лога, на самом крутом подъеме увидел вдруг своего хозяина. С огромным ножом-засапожником в руке.

— Перед иконами нельзя трогать гостя. А здесь мы чужие, — закричал злодей.

Купец успел выхватить из-под козел тяжелый колантарь, взмахнул им — Соловей отпрыгнул и тут же бросился сбоку, но старый купец, хоть и седой, и телом обносился, все же увернулся и достал обидчика по голове. Соловей выронил нож и упал.

Купец стал на колени и вознес возблагодарение Всевышнему — без Его помощи как он, старый и ослабевший в силе, смог бы одолеть силача атамана.

Затем, сделав мот из вожжей, накинул его наверх молодой березы, что стояла нагнувшись над логом, притянул ее, потом чересседельником скрутил волосы разбойника, привязал к макушке березы и отпустил, а сам отправился дальше, даже не оглянулся на подвешенного.

Три дня и три ночи мучился Соловей. Черные вороны уже садились ему на голову. И все эти дни и ночи молился разбойник Богу, горько каялся в своем душегубстве, слезно молил прощения, давал обет, что все свое добро раздаст бедным, уйдет в чернецы, чтобы всю остатнюю жизнь отмаливать душегубство. И Господь услышал его — веревка развязалась.

С той поры не было слышно о Соловье Васильевиче в той стороне, где он лютовал. Лес посветлел, птицы в нем защебетали. Те, кто уходил на богомолье в святые места, баяли, что видели

его в Троице-Сергиевой лавре, говорят, набожнее чернеца не встречали. И он, Соловей-то Васильевич, вроде и признал земляков-странников, иначе чего бы спрашивать у них, цел ли курганец в Волчьих Ягодах. А там, по поверью, у Соловья Васильевича клады несметные положены — клады-помнище. А взять их нельзя — на года положены сокровища под крепкими заклятьями. Никому он не дастся: рыть станут, а клад опустится еще глубже. А придет заповедное время — сам клад явится на землю золотым петухом с золотой свечой на голове. И тот его возьмет, кто не сплошает.

Клад тот до сих пор лежит под холмом, где есть глубокая кладовая, и стоит там громадный железный сундук, а поверх его положен чумной труп.

Если прежде зеленого листа на чистой березе ранней весной прежде всех перелетных птиц кукушечка закукует, значит, пришли сроки кладу открыться. И этим случаем сметливый да удачливый должен воспользоваться.

Жил тогда на окраине села Ефим-балалаечник, так себе с виду мужичок, пустодел и пустослов: все трень да трень, известное дело, пьянчужка.

— Чего не работаешь, Ефим? — бывало, спросит дотошный сосед.

— А зачем? — эдак беззаботно скажет он и приложит ухо к балалайке. — Трень-брень, кому дело, кому лень. Моя кукушечка и за так мне клад накукует.

Так изо дня в день сидит Ефим на завалинке, дренькает на балалайке и мечтает невесть о чем, мысли свои балалаечные слушает.

А когда месяц-студенец перевернулся вверх

рогами в небо, пришло самое время заветных снов. И стал сниться этому Ефиму чернец с седой бородой, пожухлой, с прозеленью, и сам весь ветхий и строгий. Нагрянул чернец прямо в середину его сна и сказал:

— Внемли! Ныне самое время. Клад теперь отпертый, потому как кукушка прежде весны кукует. Но знай, зарок такой положен на клад: если пойдешь за ним с тем нищим, что у тебя будет ночевать, то клад сам дастся в руки. Крепко держись того, что я сказал.

Сказал чернец и вышел вон на тот свет из сна бедного балалаечника.

На следующий вечер постучался к Ефиму в его развалюшку какой-то нищий странник в дырявых лапотках и с дырявой сумой.

«Ага, значит, сон-то в руку», — обрадовался Ефим и поспешно впустил нищего на ночлег.

А тут, несмотря на позднюю, закуковала ранняя, приблудшая не в сроки кукушка, словно часы отсчитала.

Нищий, сидя у порога, пристально посмотрел на хозяина и сказал:

— К чему это кукушка кукует?

— Птенцов чужих считает, — прибыстрился балалаечник, — а люди думают, что года.

— Не-е, добрый хозяин. Ранняя кукушка — не пророчица, а вестница. Я вот голос ее прочитал: к худу выходит.

«Ишь ты, прихитрило, — подумал Ефим, — знаю, к чему гнешь, отчего темнишь. Видать, прослышал о кладе, вот и подбираешься. Ай нет сам с усам. Мне явленье было — мне и клад добывать».

Сжадничал мужик-балаболка, презрел зарок чернеца. Решил сам-один идти за сокровищем.

Той же ночью взял, не спросясь, из соседского сарая лопату, новую, незазубренную — своя-то давно проржавела, — пошел по зароку отпирать заговоренные богатства.

Шел он, шел в темноте через пень колоду к курганцу, с дороги-то давно сбился. И вдруг такая тьма-тьмущая его обступила, что сделалось ему страшно, лопата потяжелела в руках:

Вдруг кто-то, весь в жутко черном, клубящемся, со свечкой, горящей по-бесовски снизу, появился, словно вырос из земли, перед ним и поволок его по проселку, а потом по мху, а потом и по топи.

Только завиднелся курганец, тут же отпустил его ворот провожатый и пропал, словно его и не было. Заупокойно ухнул филин во мгле. Стало так тихо, словно лег на звуки отпечаток вечности. И Ефиму показалось, что весь мир зарос тьмой. Только даровое золото манит сильнее страха.

Подошел Ефим, обливаясь холодным, смертным потом, к курганцу. Курганец круглый, ровный, весь оброс плотным, удушливым мхом. Поди пойми, где у него двери. И вдруг мхи зашевелились, поднялись, и открылся вглубь курган. Ефим вошел, пригнув голову, под низкие своды, сделал несколько шагов и уперся в деревянные двери, которые тут же распахнулись и пропустили балалаечника. Зажег свечку Ефим, идет дальше. Перед ним железные двери — и они по собственному желанию открылись. Вошел под землю ночной гость: знает, надо копать землю. Поставил свечу рядом и копнул — тут ему ударило по глазам ольшаным замогильным светом. Бесцветное, мертвое сияние разлилось по подземелью. И в этом сиянии увидел Ефим знакомого

старика в монашеской рясе, того, что приходил к нему в сонном виденье. Старец сидел у несметных богатств и медленными глазами смотрел прямо в душу Ефима. Чумной труп давно свалился с сундука — во рту у мертвеца дотлевала облитая красным, кровавым воском свеча.

Чернец недвижным и упорным взглядом смотрел на кладоискателя — и тот враз затвердел и замертво рухнул наземь. Не нарушай зарок.

Мокрая летучая мышь задула Ефимову свечку, курган наглухо закрылся на все три двери, мхи налегли по-прежнему тесно и плотно.

А по всей округе семь ветров с семи сторон повеяли воем и гулом. Кто их язык понимал, тот узнал и людям поведал о казни того, кто преступил разбойничий зарок.

Завыли ветры, и свет над лесом и полем потух, и земля вокруг клада закостенела и стала навечно нечистой и мертвой.

# ГДЕ ПРАВДА, ТАМ И СИЛА



На закате месяца ясного, на восходе солнца красного, против неба на опушке, в одной деревушке жил-поживал старик, и было у него три сына: два женатых и один холостой. А еще была дочь.

Вот почуял старик скорую кончину жизни и призвал к себе детей и благословил все свое именье двум старшим.

— Кто при семье — тот при уме, берегите нажитое мною. А я благословляю.

А младший сын стоит и говорит:

— А мне, батюшка, чего откажете?

— Чего? — спросил отец в помрачении памяти. — Ах, прости, милый сын, я тебя и дочь за-

был. Ничего у меня больше нет. И благословляю тебе баню и сестру.

С тем и отошел в другой мир, а старшие братья похоронили отца, отделили младшему Ивану старую баньку и сказали:

— Вот тебе баня, забирай сестру и живи. А у нас нет ни лишнего хлеба, ни копейки.

Сестра пригорюнилась:

— Как же мы будем теперь жить, братец?

— А как? — ответил тот. — Слава Богу, сила и здоровье у меня есть. Возьму веревку, пойду в лес, нарублю дубья и стану гнуть полозья.

— А на чем привезешь эти полозья, братец?

— Да на себе принесу, сдюжу как-нибудь.

Первым делом он переложил в бане печку, потом добыл крепкую веревку, взял острый топор и отправился в лес, нарубил дубья целый воз, да такой, что и лошади не увезти, увязал веревкой, взвалил на плечи и принес домой, где распарил дубье, выгнул, обстрогал и понес на базар продавать. И с тех пор завелись у Ивана денежки, стал он богатеть.

Старших братьев завидки взяли, пришли они к нему.

— Откуда у тебя деньги? — строго так говорят. — Ясное дело — отцовские присвоил, значит, должен поделить равно между нами.

— Вон на печке в горшке лежат золотые, — сказал им младший. — Берите все. А я себе еще заработаю.

Отдал деньги, взял веревку, пошел в лес — да приблудил чуток. Видит — стоит в чащобе дом сто окон, сто дверей. Входит Иван в дом, а там сидят-пируют тридцать разбойников. Бросились они вязать Ивана. А Иван махнул кулаком — сразу три разбойника мертвыми пали, махнул

еще раз — еще семерых вогнал в гроб. С третьего раза и всех перебил. Остался в живых один есаул — усы крученые, брови точеные. Сообразил есаул, с кем дело имеет, поклонился Ивану в ноги, повинился.

— Сдуру на тебя накинулись. Я команды не давал. Не убивай меня. Я еще тебе пригожусь, что хочешь исполню.

Прихитрился есаул, ложь — конь во спасение.

— Я бы никого не тронул, — ответил ему смиренно Иван. — Сами напали. А ты ничего мне худого не сделал, зачем же мне тебя убивать?

Обрадовался есаул-хитрован, откупается:

— Забирай этот дом себе и все злато-серебро в нем, а я тебе отныне буду верным слугою.

Сходил Иван за сестрой в баню, привел к новому пристанищу.

— Видишь этот огромный дом? Теперь он наш, и столько одежды в нем, и столько оружия для охоты — на весь наш век хватит.

Стали они втроем мирно жить-поживать и добра наживать. И все бы хорошо, да только слюбилась тайком сестра с есаулом Клычом, скоро забывшим, что обещался быть верным слугою Ивану.

Слюбились, счаровались, вместо светлых душ — черные тени. Порешили — мешает Иван их счастью, а как избавиться от него, чтобы стать хозяевами дома и богатства?

— Много лет я разбойничал, — сказал есаул крученый ус, — а такого силача еще не встречал. И сонного не взять, сон у него чуткий, отравой — нужен целый воз.

Долго думали, не спали, способы перебирали, наконец есаул удумал старый разбойничий способ — через игру в карты загубить Ивана.

— Вот придет Иван домой с охоты, давай позовем его играть в карты.

— Хорошо придумал, — обрадовалась сестра Злёна. — Сначала я ему проиграю в игре — на завяз. Он мне завяжет руки моим платком. Потом, когда я его обыграю, то завяжем ему руки волосяным арканом. Его-то братец мой не сможет порвать, и ты ему снесешь голову саблей булатной. А без этого его нельзя победить, сила-то в нем живет неимоверная.

Вот вернулся Иван с охоты, повечеряли. А тут сестра вынула колоду карт.

— Скучно что-то, братец, давай перекинемся в картишки.

— Да я не умею, — сказал Иван.

Есаул на слово скор, на поклон легок — тут как тут.

— Дело нехигрое. — И показал, как надо играть.

Сели они играть в карты. Сестра, как уговорились, сразу проиграла. Братец за проигрыш связал ей руки платком, натужилась сестра, рванула раз-другой, а не порвала.

А есаул смеется, руки с картами так и летают, тасует, хитрован, идет Ивану плохая карта — он и проиграл. Перемигнулась Злёна с Клычом, принесла толстенный волосяной аркан. И крепко связали Ивану руки: «А-ну, брат, попробуй свою силищу».

— А чего, можем, — сказал Иван.

Повел плечами эдак легохонько и разорвал аркан.

После второго проигрыша уже двумя арканами обвязали богатыря. Лопнули арканы как нитки. И в третий — тоже.



Взяла их оторопь. Решили погубить Ивана другим способом. Есаул и говорит Злёне:

— Есть у меня Птица-Бедун, посоветовался я с нею, и вот что надумала: ты притворись больной, мол, при смерти, мол, видела такой сон, будто в ста верстах отсюда стоит огромный дом и возле него прекрасный сад, и в том саду растет дерево белого налива, на нем яблоки волшебные, исцелительные даже от смерти.

Так и поступили они по сговору, когда вернулся Иван с охоты под утро, потому что охотника девятая заря кормит. Никто не встретил его. Что такое? Видит сестру в постели почти бездыханную: глаза закрыты, руки бессильно уронены.

— Что с тобой, сестрица? — спросил Иван, и сердце в нем смерклось от печали.

— Ой, видно, конец мне, братец, — притворным голосом для разжалобы протянула Злёна. — Ой, видно, помру, так мало во мне жизни осталось.

— Чем тебе, сестрица, помочь?

— Одна помочь, ее мне указал мой сон. За сто верст отсюда есть дом и сад — красоты необыкновенной. А в том саду яблоня белого налива с яблоками не простыми — лечебными. Если б я поела яблок, то и оздоровела.

Сестра, своя кровь, жалко Ивану ее.

— Только и дела-то? Я для тебя что хочешь добуду.

Взял он корзину в руки и тут же отправился в путь. Долго ли, коротко ли, скоро или быстро, по сердцу, по чутью дошагал Иван до этого дома. А дом действительно огромный, с резными ставнями на окнах. Красивый дом, да только пасмурный, веет от него грозой и холодом.

Вот нашел Иван яблоню, а на ней яблоки белого налива переливаются, дышат живым серебром — любо посмотреть. Со спеху нарвал яблок полную корзину и тут опамятовался: выходит, что воровски поступил. Решил Иван в дом войти, все добром объяснить и деньги заплатить.

Только он переступил порог, хотел перекреститься, а не на что — нет в доме икон; взглянул на хозяев — сидят за столом сорок разбойников, люто пьют, хвастают делами и в карты играют.

— Ты кто? — спрашивает его атаман. — С чем пришел?

Тут Иван и разъяснил свою оплошку, покаялся и за ущерб хозяйский изготовился заплатить.

— А ты знаешь цену-то? За одно-разъединое яблочко мне пуд золота дают. Посему приговариваю вора к смерти. А ну, братцы, охотнички мои удалые, — крикнул он десяти удальцам, — срубите ему голову.

Кинулись разбойники на гостя. Махнул Иван ручищей — кого в лоб, кого в горб, а кто и замертво пал, как снопы соломенные.

Не стал дожидаться молодец, когда остальные кинутся на него, всех разметал. Один атаман сберегся. Схватил и его Иван, за волосы приподнял.

— Виси в моей руке, как горшок на плетне, пока не высохнешь, разбойная душонка.

— Пощади, не убивай, — взмолился атаман. — Я не вор, не разбойник, — я ночной хороводник.

— Не вор, не тать, а в ту же стать. Ладно, раз повинился, подумаю, что с тобой сделать.

— Девица я, — вдруг заговорил атаман женским голосом, — заговоренная колдуном в разбойники, пока хоть один из сорока будет живой.

Не столько атаманила, сколько обслуживала. А теперь зарок престал, и я расколдовалась.

Глянул Иван — и вправду перед ним девица-краса: брови соболиные, не глаза, а глазёны, русая коса в руку толщиною вкруг головы уложена.

— Я бы и их, отпетых, не тронул, — сказал ей, смиряясь, Иван, — если бы не напали. Я же собирался деньги заплатить за яблоки. А ты теперь как будешь жить?

— Не знаю, — вздохнула девица.

Все вроде сказала, а главное утаила до поры до времени — не потому, что не доверяла Ивану: память у нее тоже была заговоренная — опоил ее колдун забынь-водой.

— Скажи, кто ты, откуда? — выспрашивал у нее Иван.

— Не помню. Нужно мне раздобыть и испить отвóрной воды, а для сего ключик надобно достать.

— Ладно, идем со мною, будешь при моей сестре, ей веселее, а мне сестрой нареченной назовешься.

И повел он девицу восвояси. Сам поспешает, так что девица едва за ним угоняется. Шаг у Ивана широкий, богатырский. Бежит красавица, а все равно отстает. Иван оглянулся, взял на закрошки, как маленького ребенка, и понес.

Увидели сестра да есаул, что Иван жив-здоров да еще вернулся с неописуемой красавицей, сильно омрачились черной злобой.

А Иван на радостях и не заметил их черноты, бросился к сестре с яблоками белого налива — откушай, мол, сестрица. Сестра откушала, поднялась, для обману приулыбнулась.

— Спасибо, братец, уважил сестру родную.

А есаул тут же побежал совещаться со своей Птицею-Бедуном, как все-таки доконать Ивана.

— Ничего его не берет, — пожаловался он крючконосой птице. — Как заговоренный он.

— Кар-ра! — каркнула Птица-Бедун. — Карра его ждет. Пр-ридумаю, есаул, кар-ру. Судьбу его обману, на то я Птица-Бедун.

И сговорились о новой подлости.

А Иван, как и прежде, ходит себе на охоту, носит в дом птицу-зверя, выделывает лисьи да собольи шкурки на шубки сестре да красавице, а бобровые — есаулу-приживальщику.

И тут стала нареченная Иванова сестрица примечать, что Злёна завела нехорошие шашни с есаулом, к тому же ненароком услыхала их сговор убить Ивана, мол, нужно не оплошать на этот раз, снова сыграть в карты крапленые, в наказание за проигрыш повязать Ивану руки двойной железной цепью, что держит на море корабли, так поступить научила есаула Птица-Бедун. «Не высок, да тонок, не умен, да звонок, — решила она об есауле-приживале, — греховодная твоя душонка, приживала да еще и на погибель зазывала. Умыслили вы преступление. Да только Господь хранит Ивана за доброе его сердце и на сей раз посрамит вас с вашим черным колдовством». И решила она пока не говорить ничего Ивану: с его правым сердцем не поверит в предательство сестры кровной.

Вот однажды Иван как всегда прибыл с охоты. Только от трапезы встал — сестра тут как тут.

— Милый братец, томление у меня. Развлеките меня с есаулом, сыграем в карты.

А нареченная-то сестрица не дремлет, приготовилась, незаметно подобрав себе саблю вост-

рую, припрятала под шалью внакид, сидит тихо в сторонке и наблюдает за игрой.

Игра идет не шатко не валко, вроде и наскучила всем, и тут Злёна уловила момент, обманула брата ро́дного. И связали они с есаулом руки Ивану железной двойной цепью морскою, елееле подняли вдвоем.

— Ну, братец, пробуй свою силу.

Рванул Иван цепь, звякнула она глухо — и ничего. Второй раз поднатужился — зазвенела цепь, как набатный перезвон, впилась еще крепче в плечи и запястья молодецкие. И в третий раз напряг всю свою мощь богатырскую молодец. Жилы на шее взошли буграми, кровавый пот проступил на лбу, — звенья на цепи сплющились, но не лопнули.

— Развяжи, сестрица дорогая, железную цепь. Силы мои иссякли. Проиграл зря.

Сестра же бессердечная мигом завернулась за двери вслед за есаулом, там Клыч и подал ей в руки саблю.

— Наше время пришло свободиться. Руби, не жалей.

Только взмахнула Злёна саблей — сабля в замахе вылетела из рук — это названая сестра выбила ее своей саблей.

Увидел Иван все это своими глазами, понял, в чем дело, да так рванул железы, что те со звоном посыпались на пол, раскатились по углам. Подхватил Иван с пола саблю Злены и изрубил ею в запальном гневе и сестру, и есаула.

И тут только опомнился, отбросил саблю, в которую, видно, вошла вся злоба сестры и есаула Клыча, на них же и обратившаяся. Сел Иван на пороге дома, поник буйной головой. Тут и девица-краса потихоньку-полегоньку придвинулась,

положила ручки свои белые на воспаленный Иванов лоб, прохладой сняла жар, потом взяла за руку, сказала:

— Не убийство ты совершил, Иван, а суд правый свершил. — И пречистые слезы во спасение любимого (девица, что уж таить, с первого взгляда полюбила добра молодца) упали на десницу его. — Здесь, душа моя, нам больше жить нельзя. Леса темные, дремучие. В них разве что недобрые люди прячутся от суда. Этот Клыч, чует мое сердце, уже успел навести разбойников на нас, а главарь у них — Птица-Бедун. Бессмертна она, пока правит зло.

— А куда нам податься, сестрица? Некуда, — закручинился Иван в простоте сердца своего.

— Давай раздадим награбленное золото бедным людям, а сами пойдем искать отворную воду. Чует мое сердце, что она откроет нам наше счастье.

Шли они шли и вышли в поле. А на том поле ходят где полем, где лесом, где волком, где бесом, — темно. Не стали идти они так. А встали и горячо помолились Господу, чтоб избавил их от сети ловчей, от язвы губящей, ужасов ночных, от стрелы летящей и беса полуденного, оградил и вразумил на дорогу.

Вот помолились они, поднялись с колен, глянули: посередь поля открылась им дорога в лес. И пошли они по ней. Лес перед ними расступается, дорогу освобождает. Видят Иван да девица: на опушке стоит избушка на сдобных пампушках, на пышных блинах — оладьи в углах, на бок валится, никак не обвалится. Подошли — дверь перед ними сама отворилась. Заходят они и видят: сидит в углу старушка, в руках — пампушка, а сама — колдушка.

— Пусти нас, госпожа старушка, ночь переночевать.

— Вон два топчана, спите-ночуйте и далее почуйте.

Легли спать. А названая сестра Ивана встала пораньше, постирала старухину стирку, в сенях подмела, в избе прибрала — мило-дорого.

Старухе, что и говорить, угодила сверх меры. На радостях разговорилась с ночлежниками.

— Куда путь держите, милые? Что ищете? Может, что подскажу, подсоблю.

Девица призналась, что ищут ключик памятной воды.

— Не знаю, брат-сестра нареченные, пока не обрученные. Идите к моей средней сестре, отнесите ей мой поклон и персидскую шаль в подарок. Она, может, знает.

Поблагодарили они госпожу старушку, поклонились ей в ноги и пошли дальше по той дороге, что сама под ноги стелется.

Долго ли, коротко ли они шли по росе, по ягоде, по шуму и гулу, по птичьему лету, вышли к болоту. А там на большой кочке стоит избушка на конских копытцах, на бабьих спицах, стоит-качается, а не падает. Подошли — двери сами упали и поплыли промеж болотных кочек по лазоревым просветам. Что ж, зашли и видят: сидит в углу средняя сестрица-молодица — в руках гребень, воздух чешет, душу тешит, льется водица, а сама — ведьмица.

— Пусти нас, госпожа старая старушка, ночь переночевать, — говорят и подносят персидскую шаль да и про поклон сестрицы ее не забыли.

— Вот вам две кровати. Спите-ночуйте и дальше кочуйте.

Легли они и у средней госпожи спать. И здесь

девица в предзорье поднялась, постирала-помыла, в сенях подмела, в избе прибрала. Любо-дорого посмотреть.

Что и говорить, старухе угодила, сердце ей умягчила, вот она у брата-сестры спрашивает:

— Куда идете? Что ищете? Может, чем и помогу.

Они обсказали, что ищут ключик к отворной воде.

— Я не знаю, идите к нашей старшей сестре, снесите мой поклон и кашемирский платок в подарок. Она скажет.

Поклонились они земным поклоном старухе-молодухе и пошли дальше свое счастье пытать. Дорога стелется, ведет, сбиться с пути не дает.

Шли да шли по листьям и шишкам, по сучьям, по хворосту, по завали, где запахи плавали, и не заметили, как вышли к поляне. А там на ровном месте стоит избушка на толстых палках, на бабьих скалках, стоит задом наперед. Подошли — двери сами распахнулись. Заходят, благословясь, видят — сидит в углу старушка престарая молодушка, а в руках дуга, а сама Баба-яга.

— Пустите нас, госпожа старушка, ночь ночевать. — И передали ей поклон да кашемирский платок.

— Вон два дивана. Спите-ночуйте и дальше кочуйте.

Легли спать. А раным-рано девица поднялась мыть-стирать, штопать-вязать, в сенях подмела, в избе прибрала — любо посмотреть.

Старуха рада-радешенька такой гостье, спрашивает ласково:

— Куда идете, что ищете? Может, чем помогу?

Они и признались бабке, что идут-бредут, ключик к отворной воде ищут.

— Вот вам шпилька от волос, — сказала им бабка. — Пойдете на закат месяца, на износ облака, на уклон реченьки, увидите травы ровные, росные, а потом травы горючие, а дальше — травы приворотные. Там стоит терем и сторожит его разбойник-силач, станет он говорить речи лукавые, а ты, красавица, притворись, будто люб он тебе, дотронься до его волос, словно погладить желаешь, а сама воткни в его чуб шпильку — он и уснет. Тогда смело заходите в терем, там в клюве у Бедун-Птицы ключик-то. Произнесите три раза заговорные слова: «Турыбуры, тар-тары. Что наше, то отдай». Золотой ключик сам выпадет из клюва в ваши руки. Да не бойтесь — без этого ключика Бедун-Птица станет замороженной. А дальше сами смекайте, что да как.

Поблагодарили они Бабу-ягу и тут же отправились в путь. Вот шли они, шли на закат месяца, на износ облака, на уклон реченьки, увидели травы росные, серебряные, росы горят, как свеченьки. Полюбовались и дальше пошли. Вот увидели травы горючие, слезные. Слезы по травам текут, травы секут. Помолились они за них и дальше пошли. Увидели они травы приворотные, отравные, яд на них в змей свивается, шипит. Страх взял девицу, да и у Ивана сердце стиснуло, а не боятся. Видят: терем и возле него старый разбойник — в руках нож, на плече кистень. Сам усат, стоит враскорячку.

— Здоровы булы! — сказал им разбойник. — Выпейте, хлопцы, из моей чарки горилки за мое-ваше здоровье. (Они-то уже знают, что в чарке яд.) Пейте, говорю вам, хлопцы.

— Благодарствую, — отвечает ему девица, — сильно ты мне люб, незнакомый человек, а кудри у тебя нечесаные, дай расчешу.

— А чего? — хохотнул разбойник, обрадовавшись девичьей ласке нечаянной. — Дело хорошее, дюже гарне. — С готовностью пригнул голову.

А девице только этого и надо было — воткнула ему в чуб костяную бабью шпильку. Глаза стражу вмиг обдало дымом, сознание заволокло, а волосы остекленели и зазвенели сосульками. Мешком свалился разбойник, уронив и чарку, и кистень, и нож, а змеиный яд из чарки всю землю, вылившись, насквозь прожег.

Быстро-быстро вбежали они в терем: сидит на высоком шишаке богатырского шелома птица не птица, зверь не зверь, сама мохната, а клювом горбата — Птица-Бедун. Увидала их — и тут же заморозилась. Заветный ключик сам выпал в руки девицы.

А что дальше? Видит она дверь в подземелье, вставила ключик в замок, двери открылись, и увидели они луга подземные, травы шелковистые по земле ластятся, ветерки дуновейные на них переливаются с цветка на цветок, волнами ходят из края в край, укачиваются. А посреди луга — сам ключ с отворной водой. Зачерпнула девица воды, испила — и сразу другой стала. И вот видит она: в лунке ключа отразились царские пышные палаты, и батюшка с матушкой — царь да царица — ласково манят к себе, вопрошая: «Где ты, Еленушка?»

— Царевна я, Елена... Слышишь, Ваня? — А больше и выговорить ничего не смогла, расплакалась, надо думать, счастливыми слезами.

А Иван загоревал: не признáет его теперь,

простого-то мужика, братом царская дочка. Лучше бы не отворялась ее царская память.

Горюй не горюй, а дело делать надо. Решил Иван доставить ее в родительский дворец, а там — куда глаза глядят.

А Елена-красавица словно и не видит его печали.

— Ладно, Ваня, откроюсь теперь тебе до конца. Попалась я в руки разбойников во время большой царской охоты. Конь мой резвый и норовистый понес, испугавшись посвиста разбойного. Оказалась я в чащобе глухой. А разбойники тут как тут. Как оказалось, коня моего они давно в карты проиграли и вот выждали момент удачи воровской. Коня забрали, а меня забыньтравой напоили.

Молчит Иван, слушает, изумляется чудной судьбе царевны, а та тихо и беззаветно едва нарешилась выговорить:

— За то, что ты меня спас, Ваня, я по гроб жизни полюбила тебя и хочу обручиться с тобою, чтобы по благословению батюшки и матушки родимых и женою твоею стать, если, вестимо, и я тебе мила.

Тут она взяла за руку Ивана и крепко поцеловала, да и он в долгу не остался, ответил на поцелуй несчетно раз.

Поднял Иван на руки свою невесту ненаглядную, посадил на коня быстрого и воз золота нагрузил богатырский, что и на трех возах не увезешь. Прибыли они в родную деревню жениха. Тут Иван стал на радостях всех червонцами одарять.

Пришли и братья, стоят в сторонке, может, стыд за прошлое ближе не подпускает, может, еще что на уме.

А у Ивана сердце русское, отходчивое. Он им и говорит:

— Чего стоите? Я на вас зла не держу. Кто старое помянет — тому глаз вон. Да и уроду вашу, знать, не перегродишь.

Бросились братья ему в колени.

— Прости нас, братка! Зло мы учинили не по сердцу, а по жадности. Грех попутал. Каемся мы, братка, горько раскаиваемся в жадьбе своей.

— Ладно, — говорит Иван, — я вас не обделю. Идите в темный лес до Разбойного перепутья. А там, где будет Лысый камень, сразу сворачивайте влево, идите все прямо да прямо, выйдете на огромный дом. Идите смело — там никого нет. Золото для вас я оставил в яме в подполье. Берите сколько хотите. Да только поспешайте. Не ровен час и другие про золото вспомянут.

Бросились братья лошадей запрягать, даже поблагодарить Ивана забыли, уже с дороги кричат, желают ему многие лета жить и здравствовать и веселиться. Видно, проняло их здорово великодушие младшего брата.

А Иван, которого чуть ли не версту провожало благодарное село, со своей распрекрасной невестой отбыл в стольный царский град.

Вскоре и явились они пред царем-батюшкой и царицей-матушкой. Обрадовались государь с государыней, что их дочь нашлась жива, здорова и такая раскрасавица, заплакали, обнялись.

— Доченька наша милая, возвращенная. Где пропадала-маялась? А уж мы-то... Мы-то тебя до сих пор ищем.

— Если б не Господь да этот добрый молодец, не была бы я живой и с вами, родители. А оставалась бы заколдованной атаманшей у разбойников. Только сила Иванова не простая, бо-

гатырская меня вызволила. И я дала верное слово стать его любящей женой.

Царь с царицей перечить не стали, дали родительское благословение на венчанье. Рассудили они по своей царской мудрости, что Ивану разве что учености в государственных науках не хватает, а дело это наживное. А с годами и опыта наберется.

Вскоре обвенчали молодых, а Ивана после медового месяца к учению пристроили, радуются не нарадуются его успехам.

Состарившись, царь со спокойной душой сдал престол Ивану, его высокомудрию и царской справедливости. И стало при царе Иване государство расти, расцветать, славиться во всех иных землях, и ближних и дальних, порядком, правдой и милостью.

А что о братьях его говорить? Великодушным они нарекли его еще прежде, как золото получили. Теперь же признали старшим братом и, само собой, царем-государем.

Иван братьев встречал, задал им пир на весь мир. Я возле тех столов бывал, мед-пиво пивал, сладко елось-пилось, да только все мимо рта пролилось.

## ТРИ СКАЗКИ О ВАРНАКЕ — БЕСШАБАШНОЙ ГОЛОВЕ

### 1



А скажу я вам не сказку-баляску, не сказ-прибас, а быль-бывальщину.

Жили у нас в селе супруги Василий и Анна, люди тихие, богобоязливые, все было у них хорошо, а только ребеночка не было. Сильно печалились они этим, только известно: печаль не красит, а горе не цветит.

Вот решились родители идти к ворожее, чтоб наворожила сына.

— Не Божье это дело! — говорили им старые люди.

Да не послушались они: своя воля царя боле.

Дала сначала знахарка прохладной воды — прохладило горло гостье прохладью; потом дала остудной воды — сковало грудь остудой; а на третий раз — застойной, мертвой воды — кровь остановилась в жилах. Глаза и руки стали как лед прозрачными. Вынула ворожея вторую чашу, забормотала заговор: «Один сустав с топорища встал, унесет тебя погода, погода унесет; зуб колом в землю, зуб колом в землю. Аминь». Поднесла снова ворожея родниковой воды — тут же отворилось дыхание у гостьи; во второй раз поднесла теплой, заговорной воды — и тут же в груди отпустило, в третий раз дала воды чистой, живой. Кровь просветилась сквозь щеки, и под сердцем что-то теплое вздохнуло.

Вскоре у родителей родился сын. А в тот миг, когда он появился на свет, черная птица ударилась в окно, каркнула и улетела. И тут же появилась на пороге ворожея:

— Дашь ему имя не по святцам, а по чарам — Варнак.

— Имя-то не человеческое, а разбойничье, — взмолилась мать.

— Тогда он умрет! — сказала колдунья. — Такой зарок, не от вещества духа, а от вещества чародейных трав он родился.

Каждой матери дитя свое дорого, не могла она своего ребенка отдать смерти.

Так и рос мальчишка с приблудным, разбойничьим именем — Варнак, кряжистый не по годам, с черной отметиной над бровью, словно воронья лапа его царапнула. Все его на улице боялись, всех собак перебил, всех котов перевешал, всех голубей разогнал. А ему еще не минуло и десяти.

А в двенадцать лет, по слухам, своего дружка Ваньку Баламута, такого же отчаюгу, в реке утопил. Столкнул его в заводь и смотрит: выплывет или нет. Очень ему интересно было посмотреть, как люди тонут.

Вот подрос Варнак, заматерел, скучно ему стало жить: и работать не хочется, и забавы надоели. Вышел он как-то на улицу, а там никого, заложил он ножик за голенище и пошел в поле — это тоска его гнала или судьба.

И видит: что-то впереди виднеется, то ли гора, то ли дерево. Подошел он ближе. Стоит громадный человек: ноги в росе, а голова в грозе. Спрашивает:

— Хочешь драться со мною?

— А что, могу, — ответил Варнак и вынул сапожный нож.

— Вот такого мне и надо, — говорит громадный человек. — Идешь со мною? Жалеть не будешь.

Тот и согласился.

Привел его громадина в темный лес, в белый дворец. Снаружи нет ни окон, ни дверей, внутри светло. Вверху свое самодельное солнышко сияет, но не жжет.

— Колдуны мне по заказу сделали, — говорит громадный человек. — И меня сотворили колдуны из трав и воды, как и тебя. Своих-то я вижу.

— А что я здесь буду делать?

— Охранять мои сны. Не подпускать ко мне ни чертей, ни слуг. А за это я тебе жалованье определил — бочку золота в год.

И стал жить Варнак во дворце, караулить сны своего хозяина. И так верно и прямо службу свою нес, что стал великан ему доверять. И его

сподручница тоже потеплела к Варнаку, а то и смотреть в его сторону не хотела.

Великан уходил на ковре-самолете на охоту. А охотился он только за кладами простыми и заклянными, потому что знался с чародейной силой. Прочитает в черной замшевой книге со светящимися буквами, где какой клад есть, на что заговорен, посмотрит в колдовскую книгу, закроет — буквы погаснут, никто не прочтет после, буквы не проступают светом из темноты. Возьмет с собой заговоренный меч-кладенец, обманное отравное зелье прихватит и укатывает на разбой.

Пока атаман пребывал на охоте, стала его сподручница разговоры водить, приласкиваться. Хмуро посмотрит на нее Варнак и отвернется: чуял он в своем хозяине силу, чуял, что знает хозяин все, в колдовском сне ему покажут, если Варнак переступит хоть в чем-нибудь запрет.

Стала ему хозяйка тогда незаметно подкладывать в яства приворотного зелья, влюблять в себя. И хоть сердце у Варнака — не сердце, а верблюжья шерсть, но и оно колыхнулось.

Накрыла как-то хозяйка и себя и Варнака зеленым покрывалом, стали они невидимыми и неслышимыми для мира.

— Любый ты мой, — зашептала она Варнаку на ухо. — Вижу, тоже любишь, и я готова к тебе с ответом. Но сначала расскажу о себе. Зовут меня Зелёна, росла я далеко-далеко отсюда, в розовых садах при лазоревых лугах у матери-чернокнижницы. И заговорила она меня на счастье самому богатому и самому сильному человеку. Как исполнилось мне шестнадцать лет, отдали меня силе подземной стеречь клад. Я и стерегла.

Палван, а так зовут моего сожителя, и забрал меня сюда вместе с кладом.

И в другой раз накрылись они непроницаемым покрывалом, поцеловала Варнака в глаза — и они ослепли навсегда для других женщин. И опять зашептала:

— Мешает он нашему счастью. Надо от него избавиться. Ты же охранщик его снов, просмотри все его сны: в каком-нибудь тайна его сокрыта.

Так они и сговорились. Но сладок ерш, да не подступишься. И все-таки вызнала Зелёна подход к этому делу, пронюхала, что кровь у Палвана заговорена на непочатой воде. Все обсказала Варнаку, как и что делать, дала чашу снов ему в руки.

— Как заснет, окропи его этой водой — сны откроются, и все увидишь.

Вот глянул Варнак в великаний сон: поверху глаз плавает белый сон, в нем ничего нет — одни белые простыни полощутся, белые паруса бегут по морю, снеги вьюжные устилают землю.

Подождал, когда громадный человек еще больше опустится в дремотные воды, вгляделся — синё в великаньем сне: синие рогатые луны, а их целых двадцать, бегут по небу, и на каждом рогу по чертенку, сидят на лунных рогах, раскачиваются, семечки лущат, а шелуху сплевывают на землю. Плюнул с досады Варнак и стал всматриваться в зраки спящего, когда надобное наконец приплывет.

Долго ли, коротко ли сидел, и вот увидел Варнак красные пожары. В красном сне в красной воде люди плавают без лиц, без глаз — мертвые. Полная река этих людей: старики без рук, без

ног, порубленные женщины с распоротыми животами, дети и вовсе без голов. Не тот сон.

Подсыпал в чашу еще больше сон-травы Варнак, влил в глаза спящему всю чашу. Почернело лицо у спящего, затмились глаза предсмертною обморочью. За третьим кругом снов увидел Варнак в страшной черной потусторонности черную старуху, услышал темный заговор ее: «Чем тебя зовут, шевела́? Шевела, шевела, вышли свои племена из горючей крови, из буйной головы и рыжего мяса, из желтой кости, из русого волоса, так мой тихохонек и целехонек дух, крепи раба Божьего Палвана». Дунула, плюнула и сказала три раза: «Зуб колом в землю», — полила лежащего на земле человека (а это и был сам спящий) три раза заговорной водою, а остаток вылила на забор, чтоб нога человеческая не ступала. И понял Варнак, что на этой непочатой воде держится жизнь великана.

Снова всмотрелся он в сон спящего. Выплеснула старуха воду на забор, а одна капля скатилась на землю, и там, где она упала, маленькое пламя колышется.

На другой день, когда великан отбыл на охоту за кладами, собрался Варнак на то место, где жила черная старуха, нашел ее по долгим расспросам. Вечером крадучись пошел, подошел к избушке ее на курьих ножках, на козьих рожках и на кабаньем клыке, увидел забор из волчьих ребер и стал ждать, когда месяц зайдет за тучу.

Вот месяц запеленался облаком, и мертвый свет в избушке погас. Кукарекнул петух с того света, где время движется наоборот. И увидел Варнак, бесшабашная голова, под самым забором в обморочной траве тонюсенькое-претоню-

сенькое пламя, словно росинка на траве задержалась, чтобы подышать.

Тихо подкрался он к забору, дунул, плюнул и три раза произнес: «Зуб колом в землю», — и наступил ногою на каплю нетронутой воды. Капля тут же потухла, словно и не жила, не светила. Только услышал Варнак, что где-то далеко за семью лесами и горами что-то рухнуло на землю, словно полнеба откололось от высей, всплеснулись грозы аж до небесных врат — это упал замертво великан возле своего дворца.

Вернулся Варнак к Зелёне, та выбежала ему навстречу, белыми руками обняла, черными косами обвила.

— Вот теперь будем, Варня, жисть с тобой устраивать, любиться, ни забот, ни горя не знать, детей наживать. Только подожди чуток, есть еще препоны для нашего счастья.

Хитрит, мудрит чародейка, видно, другое, тайное лежит у нее на сердце. Уж на что прост умом Варнак, да и он стал замечать, что летает к ней по ночам какая-то птица.

— Что за птица летает? — спрашивает Зелёну.

— Вести от матери носит птица-вестник, советуюсь я с нею, как нам жить.

Так и жили они вроде и вместе, вроде и наособе. Двери у чародейки — на железных крючках, окна зарешечены, висят на окнах не шторы, а ведьмины крылья, в них ветры шевелятся, свет месяца мнится.

Не кони в разгоне, не снеги в разбеге, не сани-салазки, бегут три сказки, эхо клубится, стучат копытца, звенит бубенец — еще сказке не конец.

## 2

Так жили они год-второй, а на третий Зелёна сказала:

— Пришло время открыться тебе, и посему надобно все остальные клады разыскать, стражей одолеть. Главные четыре клада великану не давались. Для главного дела надобен такой богатырь, как ты.

Глянула Зелёна в смурную колдовскую книгу великанью, что у Палвана покойного в ходу была, буквы в ней на страницах зажглись и начали сбегаться друг к дружке, перешептываться. Прислушалась к ним Зелёна-чернокнижница, все своим лукавым умом вызнала, все на ус намотала, да не обо всем вызнанном Варнаку-простаку, хоть и бесшабашной голове, поведала, а только о кладе запретном и кладе заветном, о кладе проклятом и кладе заклятом.

— Иди и добудь первый клад — запретный, — тут же стала она спроваживать Варнака с глаз долой, из сердца вон, рада услать, а на дорожку поучает: — Пойдешь к лесу овражному, поверху и посуху, найдешь дом — три железных двери в нем. В первую — дунь, во вторую — плюнь, а в третью от пути — не крестясь войди. Там будет на серебряном сундуке серебряный скорпион с десятью смертельными жалами и четыре кавказца с кинжалами. Если одолеешь их — клад запретный твой.

Пошел Варнак к своей ворожейке за подмогой, все ей слова Зелёнины объявил, ждет подсказки. Та и дала ему ивовый прутик. Не простой пруток, а волшебный. Сказала строго:

— Успеешь дотронуться первым до скорпиона и кавказцев — упадут замертво, а клад — твой.

Вот пришел Варнак к дому три железные двери, в первую дунул, во вторую дверь — плюнул, к третьей двери подошел, не крестясь, — она сама перед ним и раскрылась. Видит Варнак — в комнате по четырем углам белесые пауки белесые паутины — людское время — то сплетают, то расплетают. А по самой средине избы — серебряный сундук и на нем раскорячился серебряный скорпион с яростным багровым зраком; по бокам запретного клада четыре кавказца в белых бешметах с серебряными саблями наголо тут же со своих мест повскакали.

— Ай-вай, — оскалив белые зубы, закричали они, бросившись на Варнака, — тебя убивай.

Но Варнак не стал ждать, когда кавказцы станут его рубить саблями: первым успел он провести волшебным ивовым прутком по их молодецким грудям — остекленели стражи, а потом превратились в со́ски. И тут же серебряный скорпион яростно вспрыгнул Варнаку на грудь, но не успел выпустить из хвоста жало — изловчился молодец, задел все же жало скорпионье своим прутиком, остекленел и скорпион, со звоном скатился с груди наземь, рассыпался в прах.

Взвалил сундук с серебром на подводу Варнак и привез серебряный клад своей подельнице, та приластилась к нему грудью, поцеловала отравным поцелуем, еще больше охмелел молодец.

— Спасибо тебе, Варня, — произнесла она благодарность. — А теперь, если любишь меня, должен добыть клад золотой. Стерегут его скелеты чумных людей, так светящиеся буквы говорят, даже глоток отравного воздуха глотнешь — и смерть. Там, где клад спрятан, услышишь голоса проданных душ, будут они кричать: «На

улице столбом, в избе скатертью». Тогда подожги хворост, а как поднимется дым, иди по дыму, и там, где его втянет в землю, там вход под горою в подземелье. Только входить туда надо лицом назад. А как одолеть стражу и уберечься от чумы, твое дело.

На третий день отправился Варнак к той горе, еще три дня ходил он возле горы, прислушивался, когда же услышал голоса проданных душ, кричащих с того света: «На улице столбом, в избе скатертью», плеснул из бочонка немного керосина на кучку хвороста и поджег. Смрадный дым поднялся столбом в небо, дети нерожденные под землей заплакали, бесы-перевертыши дико захихикали. Вот искривился дым и потек вдоль горы, поспешил молодец за ним и там, где дым втек в гору, остановился. Пахнуло на него желтой гнилою порчей. И вспомнил, что сказала ему ворожея, когда давала ему керосин: «Горючая вода эта с медью. Перед тем, как входить в подземелье, брызни на четыре стороны медной водой и входи спиною в двери, а сам смотри на месяц неотрывно».

Так он и сделал. Вошел спиной, глядя на месяц, вылил всю медную воду с керосином, полыхнуло пламя по подземелью, воздух смрадный сгорел и с ним — скелеты. Забрал он сундук с золотом и привез его своей Зелёне.

Вышла она ему навстречу в парчовом платье, нежными пальцами перебрала ему кудри на голове и еще крепче, чем прежде, поцеловала, еще больше отравной любви впустила в него, целуя. Смертельной тоской повыело сердце Варнака, зеленою тьмою застило очи, душа заплакала в нем от истомы, и впервые по-настоящему жить ему захотелось, чтобы видеть ее всегда подле се-

бя, слышать ее голос, речи по-ученому, шаги по-княжьему. А она глядит огромными зрачёнами прямо в середочку его сердца, и оно трепещет. Вот она ему говорит:

— А теперь добудь мне самый последний клад: алмазный — может быть, самый трудный.

— Найду и приволоку, — говорит ей в любовной тоске Варнак.

— Этот клад — подводный. Спрятал его еще двести лет назад знаменитый Тимошка-душегуб. Там будет избушка. И ты сделай так: настружи три стру́жечки с окладного, середового и верхового бревна и в трех частях его сожги. Зайдешь в подземелье и скажешь: «Окладному, середовому и верховному бревну не бывать на старом корению, так и кладу не бывать у старого хозяина. Аминь». И даю тебе для этого ковер-самокат.

Сел Варнак на ковер-самокат, самокат далеко покатился, без колес, без лошадей, без дыма и пара, как птица-гагара.

Вот подъехал он к Большой реке, ровно и тихо течёт она, токо в одном месте вода баламутится, мертвая рыба кверху брюхом плавает. Глянул — а на берегу закоптелая от времени избушка, вошел туда, настрогал с трех бревен стружки и в трех углах ее сжег. Половину высыпал в углу, а остаток бросил на воды, трехкратно произнес: «Окладному, середовому и верховому бревну не бывать на старом кореню, так и кладу не бывать у старого хозяина».

Разверзлись глубокие воды, открылся проход в пещеру. Смело вошел туда Варнак, видит: по углам синее сияние, словно небесные голуби зажглись и пролились на землю. Нездешняя тоска вошла в грудь пришельцу, где-то вверху жутко зашелестели серебряными хвостами русалки,

глухо забулькали протухшей водою утопленники. Варнак остановился в четвертом пустом углу, где стоял сундучок и на нем сидели, сгорбившись и пряча лица, старичок и старушка.

Варнак вынул медный нож и подступил к ним.

— Сынок, это ты? — вдруг спросила его старушка материнским родным голосом.

— Варнак? Как ты сюда попал? — пугливо спросил его родитель.

Варнак опешил, кровь в нем остекленела, он закрыл глаза ладонями и попятился. Глянул вверх, а в подземелье нет крыши, а вверху — пусто, одно небо течет куда-то и рыбы с синими крыльями машут-машут, а улететь не могут, и между рыб — тоже с крыльями — его Зелёна-чародейка.

— Что, Варнак, дрогнул? Так ты меня любишь?

Снова затмили ему сердце и разум угарные чары.

— Чего вы здесь делаете? — спросил он в отчаянье, боясь смотреть в их сторону.

— Сами не знаем, сынок, — заплакала мать. — Вроде бы померли, сгорели вместе с избою. А вот сидим здесь, клад стережем. Черный ангел так нам приказал.

— Ой, как долго нас сюда несли, — сказал отец, — по норе тащили.

— Слазьте! — крикнул им Варнак.

Слышно было, как в нем надсадно душа задышала.

— Не можем, сынок, — сказал родитель.

Голос у него не теплый, живой, а какой-то поддельный, дальний.

— Ноги наши вросли в сундук. Обветшали мы вовсе, тебя дожидаючись.

— Сынок, дай на тебя посмотреть. Что ты лицо свое прячешь?

Варнак знал, что если увидит их глаза — уже никогда не вернется отсюда.

— Слазьте же, кому говорю! — снова крикнул он, жесточа свое сердце для страшного дела.

И тут, зажмурясь, снес тяжелой дубиной старика и старуху на землю. Те даже не ойкнули, упали, обливаясь белой, потусторонней кровью, теперь уже мертвые навсегда.

Тишина зазвенела в ушах, свечи в углах погасли, и стало темно. Нашарил Варнак впотьмах сундук и поволок его к выходу. Только поднял на берег — зачарованные воды наглухо сомкнулись над входом в пещеру, две белых рыбы всплеснулись над заводью, петух с золотой свечой на гребешке кукарекнул на поверхности вод и утонул.

Упал Варнак на землю и уснул. Спал он три ночи и три дня; заснул целым, а проснулся располовиненным, словно со смертью родителей охрана от сомнений нарушилась и что-то неловкое вошло в пустое сердце Варнака, засело занозой. Только что́ эта заноза, когда Зелёнушка ждет. Сел Варнак на самокат, примчал к своей чародейке. А Зелёна на него и не взглянула, сразу бросилась к сундуку, открыла крышку. Глаза горят, руки трясутся. Вынула она оттуда алмазное платье, велела ему надеть на нее, поцеловала Варнака, махнула рукой — ковер-самокат сам по себе тут же укатился.

— Пойдем на улицу, Варнак! — схватила его Зелёна за руку.

Только вышли, пала она на землю и обернулась голубкой — только ее простофиля Варнак и видел.

Когда очнулся, увидел, что стоит в голом по-

ле, а вокруг ночь и звезды одна за другой падают. Поглядел во все стороны, видит: слева огонь горит, пошел на него: «Знать, там жители живут». Подошел и увидел: стоит избушка в овражке на курячьей голяшке, повертывается, куда повернется, с тем поведется.

— Ну, избушка, стань по-старому, как мать поставила: задом к воротам, ко мне поворотом, — само собой выговорилось у него по слуху ли, по догадке, по старой оглядке.

Зашел. Сидят за столом девицы — семь разбойниц, одна другой краше, груди высоки, губы плавные.

— Заходи, Варнак, — сказали они ласково ему. — Уж мы ждали-ждали тебя в атаманы. Нужна нам мужская острастка, а то мы все ссоримся. Будешь нам заместо брата, а мы — сестрами твоими.

Сестры-то сестры, а не спросили у Варнака, отчего хмурый да невеселый. Пришлось самому напроситься, так припек его обман Зелёны, рассказал им обо всем.

— А она наша сестра, только отринутая. Неужели ты, Варнак, сам надел на нее самосветное платье? Ну и ну! Не надевал бы, возле тебя сидела бы. Теперь же она, видно, там, где сушатся мертвые кости.

Стал атаманить у девиц Варнак, купцов трясти, власти мести, деньги грести, медные — прохожим, серебро — девицам, а себе, удальцу, — по золотому кольцу. Подвал под избушкой просторный, весь забит добром-серебром.

Радость не в радость, а занозу ту в сердце, что от смерти отца-матери осталась, вроде бы и не слышит.

Выходит разбойник на дорогу распоясанным,

расставит широко ноги, схватит коня под уздцы, а седока свалит топором наземь, умоется кровью, заберет добро и до нового разбоя тешится похвальбой перед девицами. А те и рады, в рот заглядывают, кивают каждому слову. Никого не жалел Варнак, не давал даже несчастным перед смертью помолиться.

Было у Варнака сердце — верблюжья шерсть, а теперь стало черным и твердым, как камень. То красной смутой памяти затмевало душу, то чаровало сердце любовной тоской. И он мечтал побыстрей да половчей собрать побольше денег, чтобы разыскать Зелёну-изменницу.

А Зелёнины сестры ласково расчесывают кудри, расчесывают, гладят, волос к волосу кладут, песню поют:

Каково я срядилася?
Каково я нарядилася?
Во все ли платье цветное?
Во всю ли девью красоту?..

Уговаривают они Варнака не спесивиться и не гордиться, на них ласково взглянуть. А атаман не смотрит, видно, совсем доконала его присуха, в ушах до сих пор жил шум Зелёниных волос.

— Хочешь, женись на любой из нас. Разве мы не погляды?

Варнак отмалчивался, пустым сердцем чуял вокруг мир пустой, мир из ничего. Да и девицы хороши, а Зелёна любезней, хороши девицы, а не чаруют. Зелёна подземные сказы певала, подземная кровь на щеках пылала, жила она, какой-то мечтой окована, умела птицей обернуться. А эти наседки обыкновенные, Бабы-яги внучки-последыши. Той — клады, а эти и грошу рады. А

он сам-то? Раньше, бывало, с заговоренными силами бился, а ныне — купчишкам, как куришкам, головы рубит: убить — от забот освободить. А вот бы загубить человека так, чтобы сердце у того иссохло, как кленовый лист по осени, нужен талан, змеиные чары нужны. А что дальше?

А дальше вошь на базаре тремя веревками вязали, а конь у корыта поковал себе копыта. Хоть валко, хоть тряско, но не кончилась сказка.

## 3

Душа у Варнака от злодейства, хоть и некуда, еще больше помрачилась, совсем бесчувственная стала. Ан нет, тут и стали ему во сне являться загубленные им души. Пришла душа Евдокии-ключницы, той самой, что каленым железом умучил, добиваясь заговорных слов, на какие она положила свой клад под камень-кременец на Змеиной горе. Душа омраченная предстала перед ним, заколыхалось это полотенце, рождая потусторонний голос:

— Давай повенчаемся с тобой.

— Ты что, ополоумела? — ответил ей во сне разбойник.

— Дурак, не замуж я к тебе пришла, а чтобы скорчить твою душу за муки мои.

Поднялся в поту с постели Варнак, ледяные капли с лица катятся, сразу о Боге вспомнил, хочет помолиться, чтобы охранил, а рука не подымается, слов к Господу не помнит — кровь бесовская в жилах перемогает человеческую.

Где Варнаку защиты искать? Призывал он тогда девиц-разбойниц в свою горницу.

— Пейте, пляшите, меня смешите.

Те и рады стараться, пьют, косы распускают, то пляшут, то загадки загадывают.

— В лесу кланяется, домой придет — растянется, что?

— Топор, — весело вырывается вперед одна из девиц.

— Мертва — бледна, жива — красна, что?

— Кровь! — смеются девицы и тянутся обнять атамана. А он от слова «кровь», ох, почернел, ой, как хмурён. А вместо души у него в груди тоска черной смолой плачет.

— А ну вас! — махнет рукой и уйдет, сядет на большой дороге высматривать лихую потеху.

Если Евдокия-ключница во сне не пожалует, тогда — родители, две слепленные спинами души, земно кланяются сыну, знамо, мать-отец болезнуют за него.

— Как помочь тебе, сынок? Мы все тебе давно простили. Прости и ты нас, что на свет тебя против воли Божией родили, — узнаёт Варнак голос матери, а что вторая душа как стеклянная звенит, не поймешь, видно, у батюшки все силы на дорогу с того света истратились.

Еле-еле вырвется душегуб из этого мрака, опять зовет девиц петь-плясать, а их упрашивать не надо, тут же заводят свою песню:

Гонится душа все за мною,
За мной, девицей-красотою.
Голосом кричала, да милый не слышит,
Платочком махала. Платок не колышет.
Тяжело вздохнула — да обернулася.
Обернулся милый, да не рассмехнулся.

Поют девицы, приплясывают, бедра ходят, колышутся, как вьюга в поле. А у Варнака в груди вместо души — черная немочь. И опять ударит чаркой об пол.

— Ну вас, пустозвонницы.

И снова уходит Варнак в чисто поле за чьей-нибудь заблудшей жизнью.

А вьюга поет, заклинает: «На то я, вьюга, вьюжу, чтобы навьюжить стужу, следы заметаю, молодца облажаю, а пути ему нету».

Остановится разбойник, бывало, в лесу и кулаками грозит небу, а небо не видит его, не слышит.

* * *

Вышел как-то Варнак в чисто поле, на блескучую росу, на лихую работу, запасмурнело у него в сердце: никто уже давно не ходил здесь — разбойное место, гиблое, добрые люди обходили его стороною за версту, — стоял, стоял с топором в руках за деревом, у родника, тут его и сморило. И во сне ему явилась душа прежнего хозяина Палвана, маленькая, вроде паучка, и вся в паутинках, чуть светится.

— Зачем сгубил меня, Варнак? — спрашивает голос из паутинок. — Зелёна теперь тоже по ту сторону жизни, во всем мне призналась.

— Как, — спрашивает Варнак, — значит, напрасно я хочу ее искать?

— В мошку превратилась ее душа, не выросла, значит.

— Не губил я тебя, — отрекся Варнак во сне от своего злодейства. — Как я теперь жить буду?

Заплакал он и проснулся в слезах. И вдруг понял, что заплакал первый раз, и то лишь во сне. Но и сонная слеза, знать, на пользу. Просочилась в Варнаково окаменелое сердце — встрепыхнулось оно, как птенец в скорлупке, проклюнулась боль. Так узнал Варнак, что у него сердце

есть, познал боль и сладость сердечной слезы. Рука его сама потянулась перекреститься, да только смог ее варнак до бровей донести, а дальше — ни-ни. Хочет Варнак помолиться — ни начала, ни конца молитвы не помнит, только: «...иже еси на небесех», — и все. Забросил он со зла и отчаянья топор в родник, под кусты, желает, вишь, снова сладость слезы испытать, сердце услыхать, да не наможется: не скопила, стало быть, душа ему слез. Да и эта-то слезка — по благодати Божией — камень его сердца проточила, лунку навечно оставила.

Повесил Варнак свою бесшабашную головушку, тоской нездешней затосковал, собрался, сам не зная куда.

А тут вдруг невесть откуда — старичок ветхий, седенький, с посохом, ветер его шатает, белая бороденка расклокочена. А за плечом нищая торбочка.

— Гей, что несешь? — грозно, по привычке зыкнул разбойник.

Ветхий старичок остановился, босой, без картуза, рубаха лыком перепоясана.

— Милостыню собираю, — ласково отозвался старичок и поклонился Варнаку.

Разбойник потянул торбу к себе.

Старичок без поспеха стянул торбу с плеч и протянул разбойнику.

— Раз надобна, милый человек, бери ее с Богом. А мне без нее легче ходить. — И осенил древними перстами, благословил Варнака. Вздрогнул душегубец, разнемогся жаром.

Нечувствительно протекало время. Травы послушно прилегли к земле, родник тихо пел молитвы.

Протянул старичок разбойнику сухарик, а сам светился святым светом.

— Ешь, насыщайся. Вижу, невмоготу тебе жить. Но не отчаивайся, потому что пред Богом это самый великий грех.

И тут чудным светом просветило лицо разбойника. Вздохнул он так глубоко-глубоко, словно его зачумленная душа вздохнула, поняла, почуяла, кто это перед ней.

А старичок еще раз благословил Варнака и, собираясь уходить, сказал тихо и жалея:

— Великие грехи принял ты на себя, лихой человек. Только покаянием пред Господом и горячей сердечной молитвой спасешься. Молитвой и подвигом живи. Услышит Господь — все может простить Господь по благодати, ведающий о делах и помыслах наших.

Вот здесь только что стоял святой старец, благословлял Варнака на подвиг покаяния и служения Господу — и нет его, пропал из глаз, словно его и не было...

И снова мир отвердел, поблек, родник в траве онемел для молитвы.

Пал разбойник в земном поклоне пред тем местом, где только что святой старец стоял.

— Кто ты? Как тебя благодарить в молитве?

И в сердце своем без слов услышал, без голоса услышал:

— Благодари Господа. А я — раб Господний Николай.

Заплакал благодарно Варнак, понял, что Николай Угодник приходил к нему, многогрешному.

Снова попытался Варнак совершить крестное знамение, сложит троеперстие, рука, хотя со страшной тяготой, поднялась до чела, а дальше — легче. Осенился первый раз в жизни разбойник крестным знамением, услышал: что-то в

груди шелохнулось, знать, душа его стала просыпаться от угарного, чародейного обморока.

Варнак еще не знал, как может душа бодрствовать и болеть в человеке, какие в ней клады самоцветные до поры до времени укрыты. И все гадал, почему ему, пропащему, явился святой и дал молитвенный наказ. «Лысое у меня сердце, голое, — сокрушается разбойник. — Нехристь я и нелюдь. Как мне таким жить на свете, Николай Угодник Божий, подскажи...»

Целый день стоял на коленях разбойник и молился там, где его посетил святой. Люди, проезжающие по дороге, видели и дивились, не узнавая грозного разбойника. Семь дней и ночей так стоял он и молился Богу своими нескладными словами, не пил, не ел. На восьмой день упал на землю от телесной немоготы все равно как мертвый.

Ехали мимоезжие купцы, сжалились, подняли разбойника, отходили, довезли до перекрестка.

— Ну, бывай здоров!

Прислонился Варнак спиною к дереву, поднял голос к небу:

— Правильно ли я делаю?

— Правильно, когда праведно.

Эхо зазвенело в его душе, время упало за землю и стало всходить с другой стороны. Почувствовал Варнак, что часть грехов, пусть и малая, снята с него.

Вернулся к девицам он без добычи, другим человеком, с другими глазами — в них заклинилось небо.

Заперся атаман в своих покоях, а утром вышел в старой одежде, с посохом в руке, поклонился остолбенелым девицам.

— Простите, матушки, если в чем обидел вас.

Душа у меня в дырках, не целая. Иду искупать свою беспутную жисть — голос мне был такой.

И пошел Варнак по Руси странствовать, и чем дальше он странником шел с нищенской торбой, что Николай Угодник ему своей волей отдал, тем горше становились мысли и тяжелее на сердце от постаревшей памяти, что креста ему своего не размыкать.

Долго ходил он так, от села до села, от города к городу, положив себе на грудь святой образок.

Как-то постучался на хуторе в бедную избушку, чтоб ночь ночевать, весь иззябший, ведь не в один дом уже стучался он, да не пускали, видно, люди без добра одичали совсем. А здесь пустили два брата-бобыля.

Помолился странник на Божии образа, прилег у порога, глаза прикрыл ладонью.

— Чего, странничек, есть не просишь?

— А я уже насытился сухариками.

Поставили бобыли ему на стол борща, а сами напротив сели, дивуются простые люди.

— Много ль земли обошел, что видел? — спрашивают. — Везде ли хорошо, везде ли люди в ладах живут?

— Ходил я по русской земле, — ответил им странник. — Много на ней беды и мало тепла стало. Живут люди дружно и в разнобое. А душа болит, что вера уходит с земли. Где нет веры — там нет и добра.

— Видим, что ты человек справедливый, — сказали бобыли, сердитые друг на друга. — Может, рассудишь нас. Старший из нас хочет жениться.

— Чуть до убийства у нас не дошло — избу не разделим, — потужил младший бобыль.

— Счастье входит к людям через двери. Вот я

вошел, и вы чуть-чуть потеснились — и ничего. А войдет женщина, брату станет женой, а тебе — сестрой. А там и пристройку к избушке сложите.

Глянул странник, а изба-то стоит на козьих ножках, на бабьих поварешках, туманом покрыта, ветром повита, стоит не заговоренная — жила в ней, должно быть, Баба-яга, жила, жила да и померла. Пусто в ней, голо, время оплетает ее плесневелыми паутинами.

— Скажу я вам, бобыли, притчу, а вы по своему догаду смекайте.

Было у одного богача заколдованное пшеничное поле. У всех в округе пять лет поля не родят. А у него — колос к колосу и все налитые, тяжелые. Стали голодные ночами приходить, чтобы уворовать, прокормиться: сколько ни сожнут, сколько ни навалят на воз, приедут домой, а в возу-то — горстка тлелой соломы. И сам богач сжать пшеницу не может. Купил он это поле у колдуна, а заветных слов не догадался купить. И случился в тех местах на шестой год великий голод. Избы опустели, обезлюдели.

И был голос малому, уцелевшему чудом остатку: «Кто брату — брат, тому и клад». Значит, решили люди, брат этот и соберет урожай с заколдованного поля. Сколько ни приходило близнецов-братьев, сколько ни билось, ничего у них не выходило: жали пшеницу — оказывалась трухой.

Выжили в том селе два брата: один увечный, а другой ходил за ним, берег. Вот их и стали упрашивать.

— Где нам? — сомневались они в братской своей любви. — Ну помогаем друг другу, так это Бог велел. А так и у нас всякое бывает — и промеж нас, бывает, кошка пробежит.

И сказал им Господь:

— Идите в поле!

И они в страхе Господнем пошли и стали жать, возить возы хлеба, кормить людей, ибо они и были брату — брат, а сами не ведали, какой силой они владеют...

Тогда обнялись бобыли со слезами, прося прощения друг у друга, что чуть было до братоубийства не дошли. Это притча помогла им понять, что когда брат брату — брат, каждый богат.

И дал им странник, уходя, все свои собранные милостыней деньги на пристройку для младшего брата.

Идет странник, вроде и недалеко отошел от бобыльей избушки, а чувствует, что полегчало ему еще, видно, новая часть грехов отпала от души. Однако чернец горько сокрушался о себе: «Затхлый я человек. Не заслужил прощенья. Земля есмь и в землю отыду». Это черная кровь в нем еще не была расколдована, просто порчи стало меньше.

Ходил раскаявшийся разбойник и в Новый Афон, и в Киев. Денно и нощно молился в церквах святых чудотворным образам, каялся в великих своих прегрешениях и за усопших родителей поклоны бил.

Однажды сморил его сон. Приходят родители к нему во сне: в одном глазу мать, в другом — отец, смотрят так жалостливо и говорят: «И мы за тебя, сынок, молимся на том свете. Чарами чародейскими нажили мы тебя. Наш грех — причина. Больше о нас молись, и все отчаруется, Бог даст».

Прошло десять и еще десять лет. А странник все ходит-ходит от церкви к церкви, от монастыря к монастырю. Но сколько ни молится, а баб-

кины черные заговоры не отпускают душу его грешную. И тогда великий грешник решил идти на войну с турками, чтобы молитвой горячей и бесстрашием поддержать православных воинов, а если Господь сподобит, то и положить душу за други своя.

— Может, сгожусь за конями приглядывать, раненым помочь. Согласен жить на поглядках, а прокормиться — сам по себе прокормлюсь, — стал проситься он к казакам.

— Дюже свирепого вида ты, батя, — засмеялся главный есаул. — Турок, как придурок, вида боится. Ладно, будь при нас для устрашения.

Стал старик при конях конюховать, раненым казакам помогать, убитых хоронить, а когда батюшки нет, то и напутствие прочитает. И за лекаря он, и за повара, словом, на все руки, везде успевал. А ночь проводил в молитве за все воинство православное.

Но и ныне боль не отболела, грех не отчернился.

А тут случился бой. Окружило чужое войско русских, всех побили. Старик не успевал оттаскивать покалеченных. Тяжко ему было видеть гибель своих.

Остался он один живой в мертвом поле, прилег среди убитых, чтобы сохранить себя для ободрения немощных. А тут турки заявились, пошли по полю добивать раненых. Старик накрыл есаула собой, тот лежал с тяжкой раной на голове. Три раза прокололи старика ятаганом — он не вздрогнул, не пошевелился, а живым, однако, остался. Ночью перевязал раны себе и есаулу нательной рубашкой, положил его на шинель и поволок к своим.

— Брось меня, старик, — очнулся от боли есаул, с надсаду сам не доползешь.

— Бог милостив, не даст пропасть, — только и ответил ему старик.

Раны его болели, кровь текла. Уткнулся в землю лицом, не отдышится, в глазах смеркается свет. И опять ползет, волоча есаула. К утру все же дополз к казакам, и сразу все затмилось, и он потерял сознание, как умер.

Немощным стариком, калекой вышел страдалец из госпиталя. Дали ему Георгиевский крест и отпустили в вечный отпуск.

С посохом в руках, хромой и больной отправился странник на север, в скиты, где жила правда и воля.

Говорят, на пути ему еще раз повстречался Николай Угодник, сухонький, легкий, в глазах цветы смеются, радуются, что наставил на путь спасения заблудшую душу.

— Тяжелы твои грехи, человече, не все еще сняты, долог еще путь твоего трезвения. Но милостив Господь, крепись, раб Божий.

И в ту же ночь опять пришли во сне к нему родители, говорят: «Вымолили мы у Архангела новое имя тебе, христианское — Матвей, радуйся!» И ушли, окунулись во вселенские глуби.

Говорят, еще сто лет ходил странник Матвей по русской земле. И там, где он был, там чистые снеги ложились, колокола сами звонили. И нес он дальше в себе свой грех непрощенный и не ждал себе прощения, потому что был уже почти нищ духом и почти как дитя.

И где его путь кончился, никто не знает: ни время, ни молва, разве что ангелы Божии...

# ВАСЁНА И СЕМЬ РАЗБОЙНИКОВ



Жил-был богатый мужик, и было у него два сына: один — в отъезде, а другой — в доме, при нем. Стал мужик помирать и отказал свое имущество поровну обоим братьям.

Вот похоронил старший брат своего отца и все деньги взял себе: жадное брюхо ест по ухо.

Вернулся младший брат, по отцу убивается, что не застал в живых, не благословился. Ему и не до денег, не до богатства.

— Брат, а брат, — говорит ему старший, — не обижайся, что отец отказал мне как старшему все хозяйство.

— Хоть какая батюшкина воля, а мне она закон, — ответил младший. — У меня дети — мое

богатство. А ты — один как перст и бездетный. Пусть будет у тебя утешение. А мне что Бог пошлет.

На том и разошлись. Старший живет в хоромине, а младший — в пристройке.

А тут, надо ж беде случиться, померла соседка вдова. Перед смертью просила ради Христа братьев приютить ее дочку Васёнку. Старший пообещал, да не исполнил, а младший пожалел:

— Где трое своих, там четвертая, сиротка, прокормится.

Росла Васёнка в новой семье хозяйственной и разумной. Разум ей был дан от рождения редкостный, светлый, ведь ум — только ум — может довести и до безумия, а разум — до раздумья.

Все дети в игры играют, а она так и льнет к делу: то носки заштопает, картошки начистит, то полы чисто-начисто вымоет и за младшими успеет присмотреть.

— Васёна-весёна, — ласково называет ее приемная мать.

Так они и жили: старший брат богател, а меньший кое-как сводил концы с концами. Ездил в лес, рубил дрова и на своей клячонке возил их в город на продажу. А когда, бывало, с удачной выручки привезет ребятишкам гостинцы-леденцы, Васёна свой отдавала младшему: бедность и мудрость смиряют, а бедней их во всем селе не было.

Стали младшего соседи жалеть за покорную бедность и за то, что на жадность старшего брата не ропщет, хоть нужда последнюю копейку ребром катит. Подступались добрые соседи помочь бедняку, предлагали деньги на торговлю,

мол, разбогатеешь — вернешь, мол, денежки что голуби: где обживутся, там и поведутся.

— Благодарствую, добрые люди, — отвечал им бедолага. — Денежки что воробышки: прилетят и вновь улетят. А вдруг проторгуюсь — как я тогда в глаза людям смотреть буду?

И, чтобы сердечные люди не обижались, шутливо ссылался:

— Вот и Васёна разумно не советует: берешь — пух, а возвращать — вон дух.

Тогда оба соседа сделали сговор. Дождались, когда бедняк снова поедет в лес за дровами, и обогнали его как бы случайно на своей подводе.

— Здорово, сосед. Будь другом, выручи. К сестре еду. Сам знаешь, живет далеко, а по дороге мне должник долг вернул. Возьми вот эти триста рублей, схорони их у себя, а лучше поторгуй, так как я еду надолго. Что приторгуешь — твое. Известно ведь, деньги не любят лежать без дела.

Бедняк взял деньги и не знает, что с ними делать, куда спрятать, ведь живут они впроголодь, дрогнет сердце у жены, стратит рубль-другой на детей, а потом как вернешь, вот и спрятал в кадочку с золой.

Приехали без него меновщики, что меняют золу на товар. Жена-то им и отдала кадочку. Вернулся муж домой, хвать-похвать, кадочки нигде не видно. Жена и говорит:

— Если ищешь кадочку, так я ее продала меновщикам.

Схватился мужик за сердце, загоревал. А жена тоже испугалась.

— Что за напасть с тобою?

Муж и признался, что спрятал в золе чужие деньги. Жена вся в слезах стала укорять мужа,

зачем он ей не доверился, она бы нашла, где бы их получше спрятать.

Опять поехал мужик в лес по дрова, тут его настигает на дрожках другой сосед, говорит те же самые речи и дает на сохранность пятьсот рублей. Мужик, наученный бедой, не берет, отнекивается. Сосед прямо-таки насильно засунул ему за пазуху деньги, ударил кнутом коней и был таков.

Думал-думал бедняк, что с деньгами делать, засунул их под подкладку шапки.

Вот стал он рубить дрова, вспотел, снял шапку с головы и повесил на елочку. Заработался мужик, забылся, а тут на беду прилетела ворона, ухватила шапку с деньгами и унесла, только ее и видели. Потужил, погоревал мужик, а делать нечего, крыльев-то за воровкой лететь Бог не дал, а по чащобе-то лесной не угонишься. Вздохнул только: чему быть, того не миновать.

Живет себе мужик мелочью с дровяной-то торговли, сил не жалеет, а перебивается еле-еле. Дети в обносках бегают. Лишь разумная Васёна старается свое ветхое платье в опрятности соблюдать да посматривает на батюшку приемного, все о чем-то думает, обсматривает и смекает.

Глядят соседи, что-то с бедняком неладное. Торг у него не прибывает. Спрашивают:

— Что же ты все торгуешь кое-чем. Мы деньги тебе дали, или тратить боишься? А если так, то верни наш капитал.

Взмолился мужик, заплакал от отчаянья, все им тут же и поведал, только не поверили ему его благодетели и подали в суд.

Задали судье задачу, стал он думать-размышлять: «Как тут поступить по справедливости. Мужик этот человек смирный, непьющий, дома де-

тей мал мала меньше, взять с него нечего. Посадишь в тюрьму, так семья с голоду помрет». Сидит судья у окошка, прикидывает, как поступить.

А в это время под окном играли дети. И говорит им чья-то бойкая девчушка:

— Я буду судить-рядить, судьей буду, а вы, ребята, подходите ко мне с прошеньями.

Судья усмехнулся и прислушался, как-никак интересно, как дети станут играть в него, судью.

Разбор дел шел своим чередом, когда подошел мальчишка и так натурально шмыгнул носом, словно на самом деле плачет.

— Я вот дал взаймы денег вот этому мужичку, а он не отдает, обращаюсь к твоей милости суда на него просить.

— Ты брал в долг? — спрашивает девочка-судья ответчика.

— Брать-то брал, да возвращать нечего.

Судье еще интересней слушать стало.

А девчонка подумала и вынесла приговор:

— Раз платить ему невмоготу, ты ему долг отсрочь лет на пять. Посадят его, считай, деньги твои пропали навсегда. А так вернет тебе еще с лихвой. Согласен?

Тут поклонились все просители ей, судье, в ноги.

— Спасибо, батюшка судья.

Судья восхитился разумному решению. И поступил со своими челобитчиками как девочка — со своими понарошечными. Мужики согласились подождать три-четыре года, авось тем временем у мужика дела поправятся, да и дети его подрастут.

Вышел мужик из суда, увидел Васёну.

— А ты тут что делаешь?

— Да вот с ребятами... И тебя ждала.

Прошло три года. Как всегда поехал бедолага в лес за дровами, полвоза нарубил, а тут и стемнело. Пришлось ему остаться в лесу ночевать. А место глухоманное, вокруг много зверей шастает. Оставил лошадь пастись в логу, а сам углубился в ельник, нашел большое густое дерево и устроился на нем.

Ночью прибыло на это самое место семеро молодцов. Атаман с коня сошел и сказал, обратясь лицом к ели, на которой мужик спасался:

— Двери-дверцы, чур-чуры, отворитесь!

Тут же земля у ног атамана поднялась — и у комля елки распахнулись двери в подземелье. Разбойники стали сносить в мешках добычу, долго носили, туда-сюда сновали, торопились. Вот все перенесли. И снова их атаман приказал:

— Двери-дверцы, чур-чуры, затворитесь. — А потом подручным: — По коням.

Глухо ударили конские копыта. Разбойники умчались за новой добычей.

Мужик тут же слез со своей елки, решив про себя: «С чем черт не шутит, может, и мне попробовать?» И только успел выговорить разбойничий пароль — земля поднялась, двери распахнулись перед ним, и золотой слепящий свет ослепил ему глаза. Груды золота и серебра, деньги в мешках. А под потолком горят-переливаются драгоценные каменья, по углам подземелья горят черные свечи, льется с них черный воск.

Перекрестился мужик и начал таскать мешки с деньгами, золото и серебро, — прикрыл все кое-как дровами и не долго думая — домой, потому что знал мужик: счастье — вешнее вёдро.

Встречает его жена вся в слезах.

— Все глаза проглядела, все слезы выплакала, тебя ждала, думала, а вдруг деревом зашибло

или волки задрали. А ты хоть бы хны, без заботы о доме, вернулся веселехонек.

— Не попрекай, жена, — ответствовал ей мужик. — Удача нам привалила. Клад я в лесу нашел. Пособляй-ка мешки носить.

Купил себе мужик новый дом с новыми резными воротами. Стал на торги ездить в меховой шубе. Старший брат его дивится, завидует: с чего это он разбогател? А младший — добрый, незлобивый человек, открылся ему и позвал с собою в лес по счастье.

Вот поехали они в лес-глухомань к той большой ели, крикнули:

— Двери-дверцы, чур-чуры, открывайтесь!

Вошли — золотым свеченьем опалило их, черные свечи нагнулись, роняя наземь черный воск. Стали братья половчей да поскорей таскать мешки с деньгами на возы. Младший навалил полный воз, укрыл его хворостом и говорит:

— Довольно.

— Нет, братишка, ты езжай, а я здесь покумекаю, что мне надобней и подороже. Я еще на коней мешки взвалю.

— Ладно, прощевай. Смотри особо не задерживайся.

Остался старший возле клада, в голове мечется мысль: «Всего не увезешь, а оставлять жаль». Знай набивает мешки алмазами, носит и носит, совсем захмелел от жадности. Тут его и ночь застала. Только призаснул от усталости, раздался топот копыт, зазвенели стремена, разбойники тут как тут. Первый разбойник, самый молодой и горячий, бросился и отрубил голову сморенному сном вору. Разбойники поснимали украденные у них мешки и отнесли в подземелье, а заместо того бросили на подводу убито-

го, дико свистнув, стеганули коней, и те понесли без разбору дороги мертвого хозяина в деревню.

Вскоре явился и сам атаман; узнав обо всем, сдвинул грозные брови, накинулся на молодого разбойника:

— Скорый поспех — людям на смех. Прежде чем убивать, нужно было пыткой выпытать, кто он, откуда, куда добро увез, а уж тогда кончать.

Стали считать, сколько убыло, — много вышло.

Есаул-помощник и говорит:

— Он убил, он и виноват, пускай и доискивается.

— Твоя правда, — сказал атаман. — А ну, — обратился он к молодому, — геть! Ищи. Не найдешь — с живого кожу снимем.

Бросился оплошный разбойник на веси-дороги рыскать, искать по всей округе — не отыщется ли где злато-серебро. Много бродил, расспрашивал, кто в лес ездит, мол, и сам хочет этим делом заняться. Долго ли, коротко ли, а набрел все-таки как раз на младшего брата, вошел в его лавку. То-другое поторговал, в меру поторговался, а сам все искоса рассматривает, заметил, что хозяин скучен и задумчив, и спрашивает:

— Что так приуныл?

Так сердечно он спросил, что хозяин ему и открылся.

— Ах, добрый человек, был у меня старший брат, да беда стряслась, третьего дня кони привезли его домой с отрубленной головой, я только что пришел с похорон.

Разбойник рад-радешенек, что на след напал, сделал вид, что сочувствует его горю. А младший брат-простак все и рассказал, и где живет

вдова. Разбойник опять притворился, что жалеет ее. И спрашивает:

— Как же ей теперь жить одной, есть у нее хоть свой уголок?

— Конечно, есть. Добрый дом.

— А где? — спросил снова разбойник. — Хотелось бы выразить соболезнование.

Добрый мужик охотно указал братний дом. А разбойник взял красную краску и пометил ворота крестиком.

— А это для чего? — спросил озадаченный мужик.

— Эх, добрый человек, душа у меня сочувствием болеет, вот я и хочу помочь сироте: чтобы дорогу не забыть, я замету и сделал.

Простодушный мужик и говорит:

— Эх, брат, моя невестка ни в чем не нуждается, в дому у нее полный достаток, можно сказать, в масле катается.

Разбойник еще больше утвердился в том, что напал на верный след, и опять спрашивает:

— Ну а ты, добрый человек, где живешь?

— Да где? — сказал простодушный мужик. — Вон и мой дом, тоже справный, с красным петухом на крыше.

Разбойник взял снова краски и у него на воротах положил заметку.

— А это для чего?

— Село у вас большое, легко запутаться, — ответил лукавый разбойник. — Очень ты мне понравился, добрый человек, хочу с тобой дружбу водить. Вот приеду, привезу товары — будет тебе польза. А ты мне, может, ночлег предложишь — вон какой большой у тебя постоялый двор.

Поспешил разбойник с радостью к своей шайке и все по порядку рассказал. И уговори-

лись разбойники, как вернуть свое золото и убить хозяев в обоих домах. Долго думали и придумали свою разбойничью хитрость.

А бедолага вернулся домой и простодушно рассказывает:

— Какого любезного я сейчас встретил, спознался со мной молодец, запятнал наши ворота заметой, сказывает, мол, буду наезжать к тебе на постой, товаром торговать. Такой вежливый, такой добрый. А как об убитом брате сожалел и невестке помочь наохотился, и ей тоже для памяти ворота пометил.

Жена и дети слушают, дивятся такой доброте чужого человека. А дочка-приемыш сидит и смекает: «К чему бы это? К чему метой метить ворота, когда можно просто спросить дорогу?» И говорит разумная Васёна отцу:

— Батюшка, что-то здесь не то. Не ошибся ли ты? Не те ли это разбойники убили дядюшку? А теперь хватились своего добра и нас разыскивают? Пожалуй, наедут по заметам, разграбят нас и убьют, как дядюшку.

Мужик хоть был не пугливый, а тут в сердце его и ум вошел страх.

— И вправду, допрежде я этого человека не видывал. И с чего он красные меты клал на ворота? Чего же делать, как поступить?

А Васёна, слушаясь своего разума, посоветовала:

— Возьми, батюшка, той же краски и все дома в околотке и запятнай метами. Вот и попутаешь окаянных.

Мужик вразумился этим советом и все ворота в селе пометил красными крестиками. Успокоился, страх отпустил.

Поискали разбойники поздним вечером дома

нужные, а везде красные крестики. Долго они плутали по околотку, перессорились друг с другом, разведчика во всем винят, крепко побили его.

— Видно, мы на хитрого мужика напали. — И вернулись домой.

А потом снова послали виновного, чтобы выследил хозяина лавки. Тот и вызнал у мальчишек, где живет их лавочник.

Стала шайка гадать, как незаметно подобраться к мужику, потому что теперь он живет настороже: мужик хитер, а мы, мол, хитрее. Вот приготовили они семь бочек, в шесть бочек посадили по разбойнику, а в седьмую масла налили.

Под вечер приехал оплошавший разбойник прямо к мужику во двор и, как у старого знакомца, попросился на ночевку. Все слова у него ласковые, с подходом, с уважением. Мужик узнал его и пустил ночевать. Вынул бутылку, чтобы попотчевать покрепче хозяина.

А Васёна чем-то вразумилась и вышла во двор, глядит — семь бочек. Одна с масляными пятнами, а шесть как есть новешенькие, чистые и у всех пробки открыты. «Неужто так масло возят, ведь все расплескалось бы». Подошла к первой, открыла — там и вправду масло. Подошла к другой, прислушалась, а в ней кто-то натужно дышит, шевелится. «Э-э, — думает Васена, — да тут недобрая хитрость затеяна».

Вернулась в избу, а гость так и зыркает глазами, следит. Она и говорит как ни в чем не бывало:

— Батюшка, чем будем гостя потчевать? Пойду-ка я печь затоплю в задней избе да что-нибудь сытное спроворю поужинать.

Ушла дочь в заднюю избу, затопила печку да между стряпней стала носить ведра кипятка и лить их в бочки, так все шесть бочек кипятком залила, всех разбойников заживо заварила.

А между тем и гостям не забывает подносить то варево, то печево. Отец с гостем сытно поели-попили, а дочь осталась в задней избе, сидит и ждет, что дальше будет.

Вот хозяева уснули, гость тихонько поднялся с постели и пробрался во двор, осторожно, как условлено было в шайке, свистнул — никто не откликается, свистнул еще — тихо, свистнул погромче — ничто не шелохнулось, нет ответа. Заглянул тогда в первую бочку и отпрянул, оттуда паром его шибануло, во вторую — тоже пар валит. Смекнул разбойник — дело худое, быстро запряг лошадей и умчался подальше в лес со своими бочками.

Васёна, увидев все это, разбудила домашних и рассказала обо всем, что сделалось. Отец радрадешенек, что беда обнесла их дом, и на радостях говорит:

— Ну, Васёна-весёна, ты нам жизнь спасла. Что хочешь проси, будь законной женой моему старшему сыну. Давно вижу, что вы нравитесь друг другу.

Молодые бросились в ноги отцу, он их и благословил иконкою. Вскоре и свадьбу сыграли, много пива-вина пролилось, песен сыгралось, и мне досталось.

Вроде и живут мирно и хорошо, а Васёна все беспокоится.

— Батюшка, продай дом, чует мое сердце, не ровен час пожалуют разбойники. Дорогу сюда они помнят.

А отец успокаивает:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Крепко ты их проучила.

Но так и случилось, по-васёниному. Как-то тот самый уцелевший разбойник, нарядившись офицером, отпустив усы и бакенбарды, пожаловал к мужику и попросился на ночлег. Васёна приметила, что шашку он не отстегнул, Богу не помолился, и речь у него не гладкая, городская, а грубая и неправильная. Никому невдомек, кто это, а она-то распознала.

— Батюшка, да ведь это давешний разбойник, что приезжал к нам с бочками.

— Нет, дочка, — в сердцах сказал ей мужик. — Чего ты подозреваешь его благородие. Тот был замухрышка голощекий, а этот — боевой и заслуженный.

Васёна промолчала: опять у батюшки затемнь. Да как стали спать ложиться, принесла острый топор и замерла, всю ночь глаз не сомкнула, лежала на карауле.

Ночью офицер поднялся, крадучись вынул саблю из ножóн, занес саблю над ее мужем, хочет голову рубить. Васёна не сробела, успела топором руку ему с саблей отсечь. Тут все проснулись и стали вязать злодея. Разбойник зубами скрипит, на Васёну смотрит бешеными белыми глазами. А как стали отвозить его в город, в острог, сказал Васёне:

— Эх, деваха, атаманом ты родилась, отчаянная и на хитрости гораздая.

Тут отец и вовсе уверился, что невестка у него и впрямь премудрая, послушался ее совета, продал дом и купил гостиницу. Перешел на новоселье, начал жить-поживать, богатеть, расторговываться.

Как-то заехали к нему в гостиницу соседи, те, что дали ему деньги взаймы. Удивились.

— Ба! Вот ты здесь как!

— Очень просто. Это мой дом. Недавно прикупил.

— Важный дом! Видно, у тебя деньжата подзавелись.

— А как же, имеются.

— Что ж тогда долги не возвращаешь?

Мужик низко поклонился им и говорит:

— Слава Богу. Мне Господь помог, я клад нашел, а остальное приторговал. Готов вернуть свой долг втрое.

Подивились соседи такой удаче, порадовались за бывшего горемыку. Видят — справно живет, с толком дело ведет.

— Ну, раз такой оборот, — говорят, — давай новоселье праздновать.

Хозяин еще раз им поклонился.

— Милости просим в наш дом.

Вот погуляли, попраздновали они на славу, вина-пива попили вдоволь, разговоры поразговаривали, и попросили соседи хозяина сад показать — куда как хорош сад.

— Извольте, честные господа.

Стал их хозяин по саду водить, вишни-яблони показывать, диковинными растениями и цветами удивлять. Ходили, ходили по саду и набрели в дальнем, зольном углу на ту самую кадушку, что с золой жена обменяла у меновщиков. Хозяин сразу ее узнал по помятому боку.

— Ой, честные господа, ведь эта кадушечка та самая, про которую рассказывал вам тогда, да вы не поверили мне.

Заглянули внутрь, вытряхнули все как есть, деньги нашли. Тогда соседи и вовсе поверили,

что их должник — человек прямой и честный. Попросили прощения.

Васёна вышла на ту пору в сад, все слышала и подсказала:

— А может, и шапка отцова здесь? Вон большое дерево — вороны любят на таких гнезда вить.

И впрямь — глянули в лиственную тьму, а там шапка трухлявая. Стащили ее баграми, а там — деньги.

Подивились гости такой невиданной удаче: верно, Бог вправду мужику помог, потому что у него все тайное рано или поздно, а станет явным.

Взяли они свой долг и уехали, радуясь, что хотели помочь хорошему человеку.

А хозяин еще долго жил-поживал, добра наживал, да что там говорить: добро и во сне хорошо.

## ХИТРЕЦ-КУПЕЦ И ХИТРЕЦ-МОЛОДЕЦ



Кому сказка, кому подсказка, а дурню-дурачине — моль на овчине.

Поняли?

Не поняли. Так еще раз скажу. Шел дед Елизар с мошной на базар, а в той мошне тараканы на дне.

— Что продаешь?

— Трех домовых усачей вороных, с потолка не падают, корки обгладывают.

Поняли?

Не поняли. Тогда расскажу вам достославную историю, а может, сказку, а может, прибаску.

Жил-был в наших местах богатый купец Варфоломей, держал постоялый двор на перекрест-

ке трех дорог, десяти ветров, слева — темный лес, сзади — черный лес, спереди — скот в поле, сзади — черт на заборе.

Был Варфоломей мужик толковый, рассудительный, во всем удачлив и справедлив, но славился он тем, что был необыкновенным хитрецом. «Лукав, как кошка, — говорили о нем. — Спереди лапу дает, а сзади — дерет». Повадилась было лиса в его курятник кур драть. Купец взял и напоил с вечера трех кур, те повалились и спят. Лиса пришла, задрала кур, наелась, напилась крови, стала вдрызг пьяна, вылезла из курятника и прет прямо на хозяина, дерзит, задирается, все ей трын-трава. Варфоломей показал ей палец, пьяная лиса озадачилась, сколько пальцев ей показывают? Тут он ее повязал. Говорят, будто у Варфоломея с лисой произошел сговор, будто он отпустил лису, обучив русскому языку, чтоб была с понятием.

Разбойники объезжали его двор, хоть и жил тот без сторожей, с одним всего работником Толокном, слова от него не добьешься, в общем — глыба, нем, как рыба.

Никто из лихих людей не хотел связываться с Варфоломеем. Один капитан Копейкин не мог вынести урона своей разбойничьей чести: как так, чтобы какой-то Варфоломей один собственным богатством пользовался. И поспорил он с атаманом Карачуном на большие деньги и на право зваться главным среди всех разбойников, что ограбит, обведет вокруг пальца хитрого купца.

— Моя голова изнутри не лысая, — сказал Копейкин. — У меня тоже мысли с завитками.

Но как подступиться к проклятому купцу? Обычно у него много ночует извозчиков, стран-

ников и прочих захожих людей. «Так, так», — долго примеривался его благородие к делу и надумал. Нужно написать грамоту, будто будет наездом губернатор и сделает проверку, чтоб на эту ночь никого не пускал на ночь на постоялый двор, так как его губернаторству требуется покой и деликатное обхождение.

Приехал в служебном обличии нарочный и вручил купцу эту грамоту.

Во исполнение строгого указа, как ни просились к купцу на постой, всем отказывал.

— Каким числом будет губернатор, и сам не знаю. Все быть должно как велено.

Вот вычистил купец с работником двор, прибрал в дому, проветрил комнаты и стал ждать.

На тот случай проводили медведей ученые медведники, стали просить, чтобы пустил купец на ночлег. Извинился перед ними Варфоломей:

— Я и извозчикам отказал. А где там вас, медведники, с вашими косолапыми супостатами.

— Как так не пускать, разве деньги не все равны?

— Нет, господа медведники, — отклонил просьбу хозяин. — Обещался нынешним числом губернатор рано или поздно поутру быть. По этому случаю и отказываю.

— Хозяин, — вдруг заговорил работник-молчальник, — отведу-ка их в баню. В примыльнике — медведи, а сами в мыльне на полке́ упокоются.

— Отведи да покрепче припри. Упаси Бог, лошади губернатора медвежьего духа испугаются.

Только определил работник гостей к ночлегу, как раздался на дороге топот копыт, молодецкий

посвист, тут же нетерпеливо застучали в ворота: дают знать о себе. Гик, свист, ругня.

— Беги скорей. Отворяй ворота, — поспешил послать купец работника. — Наверно, губернатор.

Ну, работник открыл калитку, посмотрел: люди какие-то шумные и очень серьезные, — и тут же закрыл калитку, бросился к хозяину, дескать, люди не казенные, а бедовые.

Ночные же гости, не дожидаясь, давай ломать ворота, ворвались и потребовали коням овса, сена, и все серьезным порядком.

В дом вошло пятнадцать молодцов в заломленных набок шапках. А главный — глазастый и грозный, в тяжелой барской шубе, посмеивается в щегольские усы.

— Выходит, и ершок попадается на крючок, а? Ну, накрывай на стол, заячья душа.

Тут хозяин видит, что дело плохо — приехали не те, кого ждали. Для виду старается как можно им угодить по характеру ихнему и по своему разумению.

Сели они за стол и стали пить, гулять, обжираться. Вино полилось реками, снедь поедалась грудами. И все им мало, нечестивым, и всем они недовольны. А атаман насмешничает:

— Чего жадничаешь, хозяин, разве бы так губернатора потчевал? Все бы выложил, денежную мошну бы свою растряс, лишь бы угодить.

И стал с купца деньги допрашивать.

— Хватит тебе, скупердяй, корпеть, уж и так накопил достаточно.

А разбойники расторопные молодцы, уже за кованый сундук принялись, замок как щепка отлетел, енотовые шубы и шали полетели в разбойничьи узлы.

Тут работник выбрал момент так, чтобы не взяли разбойники на замечание сговорки его с хозяином, и намекнул о медведниках. Хозяин подмигнул, мол, согласен.

Вот работник вышел незаметно, вроде как к лошадям, а сам бегом за подмогой к бане. Никто из шайки не смотрит за ним, куда ему деться в такой глухомани.

А тем временем разбойники выгребли из сундука все сукна-шелка, шарят за печкой и в подполье, вышаривают тайники: злато-серебро, заветные кубки и чаши, складывают в мешки.

— Ну что, хозяин, перехитрил я тебя? — спрашивает капитан Копейкин.

— Перехитрил ты меня, ваше благородие. Да знай — ум старше силы, — сказал хозяин, услышав шум во дворе.

— О чем это ты? — обеспокоился его благородие.

Медведники со своими медведями были уже возле дома: согласились они помочь хозяину.

Одного медведя звали Колун, а медведицу Кулинка. Так эта Кулинка была много сильней и сердитей Колуна и русскую речь вдогад понимала. Медведник велел ей побить разбойников, да чтобы маху не давала, а Колун чтобы работал у дверей, никого не выпускал.

Так как медведники приказывали им службу, поклонились хозяевам, ученые медведи, что, дескать, рады стараться.

— Поди, Кулинка, я прочту тебе заговор, чтоб ножи и ружья тебя не брали. — И старший медведник наскоро заговорил Кулинку: «Ты, водица, красна девица, идешь с востока и до запада, подмываешь круты берега и вымываешь желты пески, смой с Кулинки все уроны сзади заходящего,

сбоку заглядящего, от двуногого и одноногого, от черного, от русого, от рыжего, от хитки, от прытки, от бабы самокрутки, от девки простоволоски, от всей дьявольской сотани, во веки веков, аминь».

Кулинка поднялась на задние лапы, выдавила дверь и со страшным ревом пошла на разбойников, которые продолжали пировать. Те, увидев, что чудовище космато и велико, ужаснулись и оцепенели. А она давай разрабатывать во всю свою убойную силу: кому руку вырвала, кому ногу, кому череп снесла, кого помяла и в окно выбросила.

Попробовали разбойники взять ее на ножи, но те погнулись в кольцо. Один попробовал — ружьем: пуля расплющилась на ее шкуре.

Тогда бросились бежать разбойники, а в сенках Колун как махнет лапищей, так все и полегли.

Один лишь Копейкин первым пришел в себя, накинул на Колуна тулуп. Пока медведь барахтался, бравый атаман выметнулся во двор и был таков.

Этот достохвальный случай еще более возвысил Варфоломея в глазах извозчиков и купцов.

А впервые посрамленный Копейкин оправдывался:

— Конфуз вышел, но я его все равно достану. У меня будет другой маневр.

Решил капитан Копейкин прихватить Варфоломея, когда он будет ехать с торгов, и надумал так: на повороте в лес сделать завал и отсечь тот воз, на котором будет ехать Варфоломей: известно, всякий хозяин выручку держит при себе.

Вот молодцы Копейкина из новой шайки

подрубили деревья у самой дороги и ждут, когда появится обоз, чтобы повалить их поперек пути.

— Ах, Маня-Мотаня, ах, кудырь-раскудырь, врешь — не уйдешь, — потирал руки хитроумный атаман. — Я тебе такой рескрипт пропишу.

Но не зря говорится: похвалка, как палка — любо-мило, когда не мимо.

Был Варфоломей на большом торгу, много добра наторговал, собрался домой, зашел в трактир чайку испить на дорогу. Вот сидит, обдувает чай на блюдечке, а трактирщик ему жалуется, что прибили у него пьянчужки Полкана. Полкан — чуткий пес, лаистый, а при трактире, выходит, никак держать нельзя, а ведь пес на все породы мастак: и в сторожбе, и в заячьем гоне, и на поводу, при ноге, когда трактирщица, бывало, выгуливала. Пристрелить? Рука не подымается, а кто и куда возьмет с перебитой-то лапой.

— Покажи, — сказал Варфоломей хозяину.

Привел хозяин Полкана, а тот на одну лапу припадает. Вынул Варфоломей пузырек с настоем одолень-травы, побрызгал на рану, перевязал и взял к себе на воз.

Вот едут они домой, пес сидит с Варфоломеем рядом, зорко осматривает путь, а как поворот к лесу появился, поднял хвост, отсалютовал тревогу, спрыгнул с воза и бросился вперед с лаем, скрылся из виду. Через минуту за поворотом начался переполох: крики, стрельба. А пес уже несется, прихрамывая, назад, держа в зубах чей-то лапоть.

Люди сошли с возов и вооружились, но в деле поработать им не пришлось: разбойники поскорее бросились на коней и скрылись.

— Не пес, а грозовик! — хвалил с тех пор своего Полкана купец, а при людях шутил: — У

шайки — капитан, а у меня — Полкан, и меняться не собираюсь.

Еще больше озлился его благородие, помрачнел. Раньше жил в веселье и ухарстве, а ныне пребывал в превеликой умственной отдаленности.

Чтобы окончательно не уронить своего авторитета, отправился атаман разбойничий к колдуну, дал ему золота.

— Сделай так, чтобы я стал невидимым.

Колдун взял куклу, проткнул ее волшебной булавкой, та обернулась капитаном Копейкиным. Стоят друг против друга два Копейкина, поди разберись, какой настоящий, вглядываются сконфуженно. Фальшивый хочет обнять настоящего.

— Тс-с! — поднес булавку к своим губам колдун.

Фальшивый Копейкин попятился. Колдун уколол настоящего Копейкина булавкой, и тот стал невидимым.

— А теперь иди, — сказал колдун, — видимость твоя будет храниться здесь, в теле подобки, а чтоб не испортилось, сжижу твоего двойника медом.

Как стал капитан невидимым, тем же вечером отправился на постоялый двор к Варфоломею, вошел невидимо на подворье, а навстречу ему Полкан, почуял чужого, залаял и, обнюхивая воздух вокруг невидимки, стал лязгать зубами. Догадливый Копейкин спрятался за извозчика-детину.

— Кум, чего это Полкан на тебя ни с того ни с чего начал брехать? — спросил Варфоломей детину.

— Должно быть, на торгах насмердился.

— Но ведь только что не лаял... — Купец взял Полкана за ошейник и запер в конуре, где пес, выпучив глаза так, что трещали веки, выл и лаял.

Пришлось невидимке опять идти к колдуну, чтобы тот снял с него запахи.

Взял колдун склянку с зельем, открыл ее, взболтнул.

—Кхы-кхы, зеленые мхи, прелести за-па-хи, все вместе в склянку влезьте. — И закрыл, сказав: — Иди, куда надо, теперь ты безвкусный и без дуновений.

Отправился в невидимом виде бездуновейный атаман. Вот только подошел к купеческому двору, а тут вдруг повалил снег, хотя осень стояла еще в соку.

Проскочил разбойник поскорее в дом купца, внимательно следит за ним, куда он прячет деньги, где тайники новые, следит, увлекся.

А тут заходит расстроенный работник.

— Хозяин, худое дело. Кто-то пробрался в дом, вон чужие следы на снегу. Полкана надо спустить.

Прибежал Полкан, прошелся по двору, ничего не учуял. Хозяин с работником вроде успокоились, но ставни снаружи крепко закрыли на крепкий замок. Сидят, думают, что бы это значило.

День уже давно кончился, густо завечерело. Купец накрыл стол (семья его жила в городе) сам себе, поставил бутылку мадеры, пьет, закусывает, думает. Работник ест молча, потому как не пьющий.

Проголодался за столько времени невидимый атаман, а тут мадера бесовским запахом дразнит. А надо сказать, что к этому напитку главный разбойник до чрезвычайности был

склонен. И так ему захотелось приложиться, что, улучив момент, он отхлебнул полстакана и смахнул куриную ножку себе под стол, где стал ее обгладывать.

Тут Полкан, спавший у дверей, бросился к куриной ножке и чуть не откусил невидимую руку. Атаман в ярости крепко двинул пса под бок, тот взвизгнул и выскочил, к удивлению купца, с обглоданной костью в зубах.

«Откуда кость под столом, да и кто выпил мою мадеру?» — дивился купец. И кроме как на работника некому было ему согрешить. Но работник сидит как сидел, не разогретый, в сонном молчании. Что-то в доме не так. Вон и Полкан ухитрился стащить с блюда из-под носа купца куриную ногу. Уж не он ли выпил и мадеру? «Может, я с ума схожу?» — подумал Варфоломей и огорчился.

А невидимый Копейкин, видно, перетужился, стал его мучить недуг, живот вспух. Еле-еле дождался он, когда откроет работник двери, — тут же вместе с Полканом выскочил и был таков.

Пришел его благородие снова к колдуну.

— Сделай мне колдовством невидимыми вино и еду.

Тот взял хлеба и вина, всколдунул, облил зельем и вручил просителю. Тут же на глазах хлеб и вино побледнели и цвета потухли.

Долго размышлял над последними чудными происшествиями Варфоломей и решил, что это все — от домового.

Посоветовался в городе со старой ворожеей, хотя не любил колдовства, а тут стало туго.

Старуха вынула древнее зеркальце, дунула на него — зеркальце замутнилось. Вынула она подзорную трубу и стала смотреть через нее в зер-

кальце, кинула пшеничное зерно, на зеркальце заколыхались колосья.

— Ой, худо. Вижу военного человека, в усах. Это он к тебе подступается, невидимым для человечьего глаза сделался у колдуна.

— Что мне делать, вещая старушка?

— Вот тебе кукла, вот тебе булавка. Как почуешь, что невидим пригостился, ткни булавкой в куклу — он и переселится в нее. Только сначала крепко перевяжи куклу. А как узнать, что невидим пришел, сам смекай.

Вот купил купец крепкого перца, густо насыпал его в гостевой комнате и ждет незваного гостя.

Гостюшка не заставил себя зажидаться, пожаловал с невидимой бутылкой вина и невидимым хлебом, уселся в гостиной под столом, естпьет и ждет, когда хозяин уснет и он сможет вытащить из тайников его богатства. Да вот только нечаянно провел он полой по половице, как что-то в носу у него засвербило, зажгло, и стал он чихать, так что чуть язык не откусил, несколько раз ударившись макушкой о столешницу.

Тут купец ткнул в связанную куклу булавкой, и перед купцом и его работником оказался в яви с бутылкой и хлебом в руках его благородие собственной персоной, стоит, стыдливо шевелит усами, словно голый, глаза вытаращены от конфуза. Рванулся бежать, а руки-то повязаны.

— Здравие желаю, ваше благородие? Откуда это вы явились? Из воздусей соткались? — съехидничал купец.

— Ты бы, тулуп, помолчал! — озлобился атаман.

— Нехорошо со своим хлебом-вином в гости являться. Я бы ради гостеприимства куриной

ножкой попотчевал и Полкана бы не обидел. И мадеры бы налил господской. Не думал я, не гадал, что благородный господин мелким воришкой окажется, не побрезгует опивками-объедками.

Для настоящего разбойника слово «вор» — самое унизительное. Это сильное понижение в злодейском титуле. Заскрипел от злости и обиды разбойник зубами, бросил наземь недопитую бутылку и хлеб, понял, что осрамился.

— Твоя взяла, сукин ты сын, купец. Обхитрил ты меня, козлиная борода, — забормотал разбойник — не то чтобы душу выплеснуть, а чтобы зубы заговорить, а самому выхода поискать. — Ну что ж, сдавай меня властям как вора. Спросят: кто? Скажусь беспамятным. Только статьи такой нет, чтобы меня осудить. Ничего я у тебя не украл. В чем ты меня подозреваешь? — все напористей подступался разбойник к хозяину.

А Варфоломей, хитрый-хитрый, а дал промашку: запамятовал впопыхах о булавке, забыл выдернуть ее из куклы, пока она была завороженной, а теперь булавка торчала в живом бравом капитане Копейкине, в ягодице, причиняя ему нестерпимую боль. «Ага, чаехлёб! — злорадно догадался разбойник. — Ты — дятел, а я — сокол. Ты — дрозд, а я — ворон. Не на того напал». Атаман сделал вид, что хочет почесаться, и кое-как выдернул булавку и зажал ее в кулаке, стал ждать. Но купец не подходил к нему. Только Полкан, оскалив зубы, подскочил и высокомерно обнюхивал своего обидчика. Разбойник вдруг ткнул булавкой в оцепеневшего от удивления пса. Полкан взвыл и стал приобретать форму куклы. А разбойник враз обесцветился и исчез из виду.

Полкан в последний раз пролаял в тряпичной кукле и, отвердев, умолк.

Разбойник не мешкая бросился к двери, рванул крючок.

— Ну и дурак ты, купец, — донесся голос невидимки со двора.

Разбойник поспешил к колдуну, чтобы он его расколдовал, чтобы он снова стал натуральным капитаном Копейкиным.

Колдун бросил бобы на лисью шкурку и увидел три судьбы капитана Копейкина, и все судьбы показывали, что нужно атаману замиряться с купцом.

— Чары мои истощились, магические воздуси огибаются мимо купца.

Через три дня на большой дороге раздались перезвонистые звуки бубенцов, подлетела к купеческому двору тройка, из дрожек выпрыгнул в капитанской форме Копейкин, зашел в дом, тронул козырек, щелкнул каблуками.

— Явился заключить мир с тобой, Варфоломей Игнатич, на предмет диспозиции.

— Милости просим, — лукаво усмехнулся купец. — Вам мадеры?

— С превеликим и сердечным удовольствием! — ответствовал разбойник. — И на сокола, Варфоломей Игнатич, есть свой охотник. Твоя взяла, признаю скорбно, но справедливо.

Так они и помирились, купец и разбойник, на том, что ни атаман, ни его сподручники не будут трогать купца и даже вовсе станут оберегать его от всяческой обиды и урона.

Напоследок взял капитан Копейкин у хозяина куклу, поставил ее на стол и воткнул в нее волшебную булавку — Полкан взвизгнул от боли и ужаса и появился на столе, куда ему сроду досту-

па не было. Под носом у него оказалось блюдо с бараньим рагу. Но как ни оголодал пес, все же, лязгнув зубами, рванул к выходу — как бы чего еще похуже не случилось! С тех пор стал Полкан задумчивым и долго жаловался луне, подвывая своей тоске, мол, люди темны сердцем и его собачьему разуму непонятны.

А Варфоломей Игнатьевич — как умный и справедливый человек — жил-торговал, Богу молился, с людьми добром делился.

Смекнули? Известно: ум старше силы.

А не смекнули — так слушайте. Шел дед Елизар с мошной на базар. А там, на базаре, старика повязали, развязали мошну, стали смотреть во тьму, а в ней сидит таракан на аркане, а на таракане сидит таракан-малец, кричит: «Сказке конец!»

# ШУТ ТИМОХА И ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ С РАЗБОЙНИКАМИ

## 1



Бывало-живало, баба желудь жевала.

Вот сжевала его, а тот желудь был не простой, а заказной. И вскоре родился у нее сын задом наперед, весь желтый, желудевого вида. Родился не впрок, не в срок — шут, потешок.

Чуть подрос, стали все его звать — шут Тимоха. Недаром его так прозвали в селе. Никому не давал ни проходу, ни проезду: ни другу, ни соседу, ни конному, ни пешему, ни глухому, ни умному, ни дружному, ни одинокому, — всякому придумает и припечатает какую-нибудь срамную или смешную кличку.

Лавочник Илья, толстый и задышливый человек, получил у него прозвище — Окорок-самонос. Вспыльчивый кузнец Григорий — «Тьфу и погасни». Священник, в миру Николай Птицын, — Мамай Закукарекин. Его дьячок — Припопок. Старик Фомин с простудными ногами теперь звался «В заду кол». Своего родителя, смирного и заранее перед всеми, — Папушок. Носатого местного грека — Приблудный нос.

Увидит, бывало, красивую девицу, привьется прилипчист, заговорит. Скольких он спортил, опохаживая.

Поставят мужики мордушки-ловушки для рыб — ранее хозяев вытрясет рыбу, а вместо улова опустит в мордушку то лапоть, то куриного помета в тряпице, то еще что-нибудь оскорбительное. То же и с капканами на лисиц.

Все знали, кто этим промышляет, только поди докажи. Шутка — не погудка, но и воровство — не баловство. Опустошит капкан — и концы спрячет.

Зряшный человек, пустозвонный, целыми днями то торчит на завалинке, то лежит на печи, обдумывает, кому какую каверзу состроить, а то сплетет корзины, продаст на базаре и примется за столом детям своим клички давать. А те сами в родителя вышли, тоже желудевой масти.

— Два сына у меня, — заводит шут Тимоха свою песенку, — Поплавок и Грузило.

— А ты — Леска, — отражали насмешку чада.

— Леске хорошо, — отвечает Папушок, — на леске окунек грызет поплавок, а грузило-заузило в рыбьем сортире — держи рот пошире.

— Маа, чего папуня дразнится! — бросались обиженные к матери.

— Кому маманя, а кому — гроза в ведре или

кол в ноздре. Да ладно, не верещите. Привез я вам гостинцы. Кто отгадает загадку, тому и дам. Так вот: сама носит, деньги просит, а не дашь — кипит ералаш. Хы-хы, — смеется Тимоха.

— Мамка, мамок! — догадываются чадушки.

— Ну еще загадаю: сверху гладко, внутри сладко, а кругом — гадко.

— Ну и балабол ты, Тимофей, — догадывает, о ком загадка, жена и сердито, в том Тимохе, добавляет: — Когда шиш да ку́киш — лошадь не купишь. Все тебе хы-хахоньки, а ведь ты человек по разуму, почтенный человек. — И с поклоном, помазав маслом, подносит блины. А как же, какой-никакой добытчик, кормилец.

А Тимоха ест да ухмыляется.

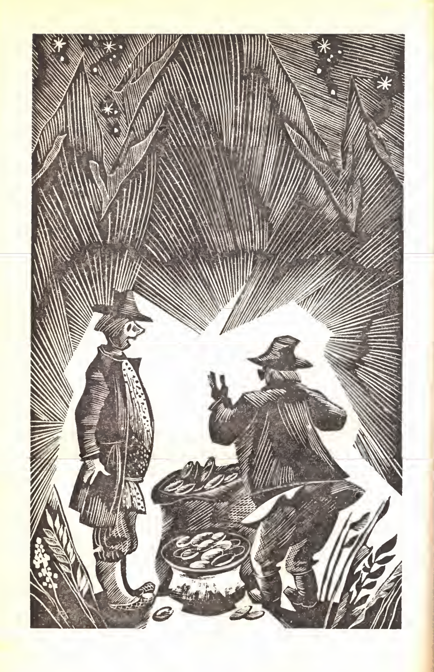
— Умел, — говорит, — нажить, умею и есть.

Бывает, что и сказки возьмется сказывать, и все с причудой. Не поймешь, либо присмехается, либо прихитряется. Проезжие торговые люди любили останавливаться у него, слушать его цветистую присказь. Сидят, бывало, на подпольнице, откроют рты, как ворота перед гостями, дивятся чудесам. А Тимоха на печи, как на царском престоле, высоко, ногами помахивает да языком опахивает.

А то в лес сходит, надерет бересты, сделает из нее мячики и давай играть с ребятишками в лапту. А то как глупенький скачет на одной ножке.

Не водилось на его дворе скотины, одна коза Требушок да пес Монтай-Спатай, да еще кот важный — Капрал. Жена козу доит, пес во дворе воет, а кот на солнцепеке шкурку холит.

Может быть, мужики и наказали бы по-свойски Тимоху за его проделки, если бы не один случай.



Завелась в лесной глухомани медведица-разбойница, то пасеку разорит, то мужика задерет, то дитя у кого-нибудь утащит в берлогу, а там медвежата его заиграют. Ходила она в железной кульчуге — ножи и пули ее не брали. Говаривали, что это деву-воина колдуньи обратили в медведицу, стала она зверем, как была в кольчуге, а в ушах — серебряные серьги бренчат. И умела она говорить по-русски и по-иностранному. Только понять было трудно: известно, медвежий язык к речи не приспособленный. Никто не мог справиться с этим оборотнем-медведицей.

А она еще больше осмелела, бессовестная, того более злодействовать принялась. Едут богатые купцы на торга, медведица поднимется на задние ноги перед обозом. Лошади со страшным храпом бросаются, не разбирая дороги, о деревья расшибаются. Дрожки и подводы — в щепки, у людей увечья. Медведица разваливала лапами раненых. А золото, чтоб оно не досталось людям, топила в озере.

— Убить ее невозможно, — жаловались охотники. — Вон Прошка-охотник выстрелил: пуля звякнула и отлетела от шкуры. Полез он со страха на елку. Медведица за ним не полезла, стерва, села под деревом и дождалась, когда от голода помрет и свалится к ней в лапы.

А Тимоха слушает эти разговоры, скачет на одной ножке, приплясывает.

— Дурни вы, — говорит им. — Дурнопаны. Болтуны Болтуновичи. У вас без мысли мозги прокисли. Да я в два счета с этим оборотнем управлюсь.

— Твои враки как пыль на собаке, — сказал дьячок Припопок, озленный на Тимоху за прозвище.

— Ай, нехорошо, какой хвастлив, — подал голос и грек Приблудный нос.

— Папушок, Папушок наложил брехни с горшок, — закричали чадушки, рады снасмешничать, знамо, в отца.

— Ладно, если дело серьезное, берусь помочь людям, — сказал, ничуть не обидевшись, Тимоха.

Вот и принялся за дело. Смастерил себе новое удилище, привязал прочную леску и крючки, грузило и отправился на рыбалку.

— Что он, сбрындил? — удивился прилюдно сосед Тимохи по прозвищу Обабок. — Известно, медведи тебе не рыбы, в реках не живут.

— Еще как живут, соседушка, — ответил Тимоха. — А разве в кольчугах медведи бывают? А кто видел Обабки, чтоб росли на грядке? Кому смеркается, а кому и смекается.

Вот так наловит Тимоха рыбы: налимов, карасей, горбуши, — часть унесет с собой, а часть припрячет, будто не может унести. А рыбачил он недалеко от тех мест, где берложила разбойница.

Или любила косолапая рыбку, или до того, как стала зверем, лакомилась, только запохаживала она к этим припряткам: придет и все поест, даже чешуйки не оставит, облизнется сладко — и к себе в берлогу. Так разохотилась до рыбы, что даже лосниться стала от сытости.

А шут Тимоха придет к тому месту и громко ругается:

— Ах ты, железная шкура, дармовщинная утроба, гляди-ка, все пожрала. Да чтоб у тебя вскочила кила с семи кила, чтоб кость в твоем горле застряла поперек дыхала, чтоб выдуло тебя, воровку, на весь лес поносом.

Эге, проняло медведицу. Слушает она шум-

брань рыбака и злорадствует: «Хитер ты, потешок-рыбачок, всех на смех подымаешь, а я над тобой смеюсь, желудь ты недоеденный». Вишь как веселилась медведиха, в лад Тимохе насмешничала: известно, кто сыт, тот и весел.

Стал Тимоха рыбу привязывать повыше к дереву, но чтобы не так уж очень высоко. Уйдет, оставив запас горбуш или налимов. Медведица выйдет из укрытия, нагнет деревце, если не дотянется лапами, рыбу съест, всю схрустит и завалится спать со своими ребятишками: «А что, живу сытно, живу рыбно. Как надоест рыбу есть, самого Тимоху съем. А там и осень — по медам пойду».

В селе заметили, что медведица перестала баловать, кое-кто смекнул, что это дело рук Тимохи.

А остальные рады срамить шута.

— Ну где твоя медведиха? — потешается над ним Обабок.

— А у меня в лавке давно ждут медвежатины! — подступал с ехидцей лавочник Окорок-самонос. — Ну что, Аника-воин, дал конфуз?

— Конфуз — не груз, плеч не давит, — весело отвечает ему Тимоха. — А ты лучше отгадай: отец толст, брат прост, мать пуста, дочь красна, а друг храбер под небесы пошел, — в ответ смеется Тимоха, уничижая соседа и вознося намеком на храбрость себя.

Как-то собрались люди на завалинке у Тимофеевой избы. Он им и говорит, усмехаясь:

— Ну вот что, господа соседи. Как говорится, всяк на своем месте сгодится. Завтра прошу ввечеру пожаловать посмотреть, как я буду с медведицей справляться. Да прошу еще, господа лопухи, иметь в виду награду, как в натуральном, так

и в увеселительном виде. И чтоб штоф был не вашей дерьмовой сивухи, а в послабление моего нрава — городской, многоградусной.

— Господи, да ежели ты избавишь нас от этой супостатки!.. — вздохнула баба Евдошка, заклейменная когда-то Тимошкой как Бултых-поварешка.

И все же вечером люди собрались, чтобы посрамить Тимоху за ложь. Но были и такие, что сомневались:

— Чем черт не шутит, может, что и выйдет у Тимохи-то.

А шут-балагур между тем вот что надумал: смастерил стальной крючок, наживил на него кусок мяса и пошел ловить большую рыбину — сома или щуку-вековуху. Взяла этот крюк щука — весь кус разом заглотила, матерая. Еле вытащил ее Тимоха на берег и сильно прикрутил прямо на леске к дереву. А сам, сделав вид, что уходит, спрятался неподалеку.

У медведицы уже терпения нет дожидаться, когда Тимоха подальше отойдет, схватила щуку, вместе с крючком заглотила да и мелкоту всю подобрала, усластилась и решила закосолапить восвояси, да не тут-то было: что-то дернулось у нее внутри, вцепилось разрывной болью в кишки. Медведица взвыла от боли и присела на задние лапы. Дернулась второй раз — еще сильнее ополохнуло ее болью. Хотела перегрызть канатную леску, да она железной оказалась, лишь клыки покрошила. В третий раз рванулась — и обмерла, упала наземь, черная густая кровь пролилась из пасти.

А тут из-за дерева подоспел шут Тимоха, вынул дудочку и заиграл плясовую:

Три царицы медные,
Три девицы бедные,
Три старухи поварухи,
По ведру у каждой в ухе,
И спереди них мужичок
Золотой оладь печет.

— Тьфу, шут проклятый, — в затмении от боли произнесла сама себе медведица. — Обману поддалась. И кто меня обхитрил-то, ох! Пустозвон и пустобрех.

Взял канат в руки ловец и повел медведицу в село, а сам все поет, все приплясывает.

Навстречу Тимохе люди бегут, дивятся, кричат друг другу:

— Шут Тимоха ведет разбойницу!

А Тимоха чуть дернет — та сама за ним идет, как ручная.

— Что я вам говорил! Приведу супостатицу к вам на повинность.

— Что будешь делать с нею, Тимофей Егорыч? — впервые по отчеству обратилась к шуту Бултых-поварешка, баба вертлявая, смазливая. — Ее же убить не можно.

— Кому не можно, а кому заповедано. Я уже давно придумал ей смерть за все ее зловредства.

Повел зверя Тимоха к болоту, затянул медведицу в топи, подождал, пока она угрузла по самую пасть, и пошел восвояси.

Вынесли сельчане на улицы столы, уставили их винами и яствами, сели пить-пировать, вино проливать, врагов честить, себя хвалить; досталось на том пиру: Якову — всякого, Гришке — пышки, Тимохе — по крохе, а мне — ничего.

## 2

Живет шут Тимоха, жует мешок гороха, кому последки, а ему заедки.

Лежит на печи, присвистывает, дует в воздух — делает ветерок, а в ветерке лунку выдувает.

Дети подросли, все в поле — не с кем Тимохе шутки шутить, а собаке сколько кличек ни давай, один ответ — виляет хвостом да в глаза заглядывает. Ну что с того, если крикнет псу — Шуруп, или Соска, или Требуха. Кот — этот поважнее. Вот переиначил его в Колупая — и ничего. Обозвал Блошиным питомником — ухом не повел, Алкашом обласкал — зевнул и отвернулся.

И люди подзабыли его подвиг, как он укротил железную медведиху, перестали величать и потчевать, опять все — Тимоха да Тимоха, а то и шутом назовут.

— Ладно, — злится он со скуки, — я проучу вас, землячки, уж что-нибудь придумаю, чтобы вам всю жизнь на бычьем роге сидеть, соплей вместо кнута лошадей хлестать, чтобы вам муравейником обметало голову.

Прикидывал так и эдак, как вернуть к себе уважение и почет. Вычислял что-то Тимоха, в общем обмозговывал. Вот обмозговал. Свесил с печки мосластые ноги и позвал жену.

— И-и-кудыть-растудыть, скажи мне, моя любезная кобра, умный у тебя супруг или нет? А на зарядку отгадай загадку: что страшней в медведе: сила иль шкура, вид иль коготь, зев иль рев?

— Как скажешь, так и будет, Тимофей Егорыч, — отвечает ему жена, недавно получившая новое прозвище Обмотка. — Иногда кобель бросится — и ничего, а в какие поры воздуха боишься, когда из него ткутся призраки.

Тем же утром ушел шут Тимоха на болота, а вернулся поздней ночью с медвежьей шкурой на себе, спрятал ее подальше в сарае от всех, даже от жены.

А на другую ночь у грека Приблудного носа подавил кто-то трех поросят. Глянули, а вокруг знакомые следы медведицы.

Долго гадали в селе, как и почему оказалась медведица живой. Все решил Тимоха, объяснив, что заговорная сила не может умереть, ее можно только сковать. Знать, кольчужная медведиха сумела вырваться из топи, теперь подлечилась, а потому будет всем жестоко мстить.

— Так что берегите деток, соты и скотину, — объявил Тимоха сельчанам.

— Что нам делать, Тимофей Егорыч? — обступили его с ласковым обращеньем дьячок Припопок да сосед Обабок.

— Ставьте магарыч да детям моим послабление в ученье дай, дьячок, потому что страдают от чужой маловразумительности.

Все радостно согласились.

А медведица по ночам, разорив новые соты, долго еще ревела, гудела, топотила в лесу, ломала сучья в ярости. Люди не гасили огней в избах, сидели в смирном страхе. Никому не пало на ум, что это сам Тимоха в медвежьей шкуре беснуется, изображая зверя-разбойника.

— Смотрите, — сказал он однажды Припопку и Бултых-поварешке, чтобы раззвонили по селу, — ввечеру, по моему раскладу, будет медведица у села. Я же, обмазавшись таинственной мазью, стану ее укрощать. А кто приблизится к ней, окромя меня, ближе ста саженей — за того не отвечаю.

Вечером накинул он шкуру медведицы на

4 Зак № 88

своего послушного телка, купленного загодя за трех поросят, что задрала у грека «медведица»; вывел его к лесу. Чтобы телок не матусился, он положил ему в шкуру медведицы сена с овсом, а шею ему обвязал веревкой.

Вышел шут Тимоха, приплясывая, облитый чем-то белым, смахивающим на сметану, подошел к медведице и якобы накинул на нее веревку, дернул: шкура медленно стронулась, но не пошла. Он еще раз дернул, да так, что телок в шкуре пронзительно замычал.

— Оборотень! — в испуге кинулись врассыпную зеваки. — Слыхано ли, чтоб медведь коровой мычал!

Чтобы никто не догадался: догляд — в догад, шут Тимоха застрекотал по-птичьему, закукарекал по-петушиному — в общем, сделал отвлекающий шум, да так подземно, так страшно, что и притормозившие было смельчаки рванули по домам, подперли двери и стали ждать, что дальше будет.

Принес ночью Тимоха шкуру медведицы, развесил на огороде под окнами. Люди боязливо пробирались, чтобы почтительно притронуться к ней, собственноручно убедиться, что медвежья, а не лешаковская.

— Ну конечно, та самая, — облегченно заявляли, — и в шерсти кольчуга ржавая увязла.

— Великий ты человек, Тимофей Егорыч, раз с такой заколдованной махиной справился, — снизошел до похвалы шута Окорок-самонос и уронил благодарственную слезу по такому поводу.

— Папаня у нас такой! — возгордились и чадушки. — Очень уж он грамотный на выдумки. Самого черта обхитрит.

Жена поклонилась ему льстительно в ножки.

— Пожалуйте, Тимофей Егорыч, блинов с маслицем откушать.

И закатило общество пир горой. Все село пило-ело, песни пело, пока шкура не истлела.

Жаль, что я там не побывал, блинов не едал, вина-пива не пил, а то бы у самого голова гудела, пока шкура вся не истлела.

### 3

Жило-бывало, домовых нагнало, взял домовой сук дымовой, не пень, не стог — годы поджег и кинул в печку, как чертову свечку, пламя шипит — жизнь горит.

А что Тимоха? Десять лет прошло как не бывало, с тех пор когда принес шкуру медведицы Люди беспамятны: забыли, запамятовали доброе его дело. И снова он стал Тимошкой-шутом. По-прежнему прибаутничает, сказки сказывает, а теперь к нему еще и сны привязались, только некому рассказывать, некому отгадывать. Сыновья за самостоятельной жизнью разъехались. Без упражнений язык Тимохин остался, разве что жена послушает, а то и Припопок подвернется.

— Сон ноне приснился, будто на ягодицах выросли крылья. К чему бы это?

— Не там они выросли у тебя, — оглаживая трясущуюся от смеха бороденку, говорит Припопок. — Вот ежели бы над дланями, а так...

— Ладно, — соскучившись, перебивает Тимоха, — скажу тебе другой сон. Будто застряла семечка меж зубов, и стал расти подсолнух, да та-

кой большущий, можно сказать, огромадный — мочи нет продохнуть. Разумеешь?

— Внимательно разумею, — соглашается Припопок. — Сам говоришь по такому случаю: идет квашня, а в ней брехня.

— Так я же тебе про сон самовидный, а отгад ему самый натуральный о щедрости моей. Дашь, к примеру, мне семечку, скорей всего грошик, а я тебе целую пригоршню верну. И посему под заклад сна прошу взаймы сколько есть. А я корзины продам и верну долг с лихвой.

Припопок неохотно раскошеливается. И по этой причине все реже и реже заглядывает на сны к Тимохе.

Одиночество для Тимохи да безденежье непереносимы. Как ни тошно, а пришлось похозяйствовать на земле. А как без хозяйства хозяйствовать? Пошел к дьячку Припопку лошадь да инвентарь просить.

— Мне не жалко для доброго хо́зяина. А ведь ты опять все испакостишь. Из тебя пахарь как из блохи заяц. — Дьячок тут шмыгнул носом и выговорил: — Хоть кое-кто для тебя Припопок да Обабок. Живешь весело́, язык как помело. На базаре у трактира своими байками-зубоскалками вернее заработаешь.

— Эх, отче, а я еще о тебе говорил, мол, золотой человек. И друг ты мне, считай, многосердный. Вот те крест, если что случится с твоими лошадьми, голову положу, а за тобой сбегаю.

Выпросил-таки Тимоха лошадь и плуг, поехал к озеру, пустил лошадь пастись, припозднился. Возвращается вечером домой, да сбился в глубокое и вязкое болото. Чего жалеть — у дьячка лошади водятся. Лошадь увязла сначала по брюхо, бьется, вся забрызгалась — не видно глаз!

Тянул, тянул ее из трясины, самого едва не засосало.

«Да ладно, пусть околевает», — решил про себя Тимоха. А чтоб не мучилась зря, отрубил ей голову почти совсем, осталась она висеть на жилах.

Бежит Тимоха с криками и причитаньями к дьячку.

— Ой, отец честной, беда с твоей лошадкой, завязла в болоте. Билась-билась! Силы покинули ее — тонет.

Дьячок кряхтя сполз с кровати, крепко обругал, обозвал бесовским выродком. Что уж и говорить, где потехи — там неумехи. Пожалел шута — пришла нужда. Подобрав подрясник, поспешил на болото. Тимоха за ним. Увидел дьячок свою буланку и заплакал: голова на ниточке болтается, а сама в трясину ушла.

Тут и говорит Тимоха:

— Какие уж теперь амбиции! Я как простой мужик по званию своему буду толкать лошадь с хвоста, хоть и под копыта не ровен час можно угодить. А ты, отче, тяни спереди.

Понравился такой расклад дьяку, уперся он ногой в кочку и изо всех сил потянул свою бедную лошадку Жижа болотная захлюпала, полетели шлепки в дьяка, облепили с ног до головы

— Ой-ой, не тяни так: голову бедолаге оторвешь.

Дьяк нащупал ногой пенек, уперся, потянул: вроде лошадь немного подалась.

— Умерь распыл, — орет распроклятущий шут.

От ненавистного Тимохина голоса дьяк в ярости так дернул за веревку, что вместе с лошадиной головой, как лягушка, шлепнулся в густую

жижу, да еще так приложился толстой спиной о пенек, что едва жив остался.

А ненавистный дьячку Тимохин голос трутнем жужжит у самого уха:

— Говорил же я тебе, отче, что не надо мочи так напрягать. Остерегал же — голову оторвешь. Не послушался меня, мужика сиволапого, — вон какой конфуз вышел: лошадь без головы оставил и спину себе досадил.

А сам отвернулся от дьячка и потешается: «Хы-хы, не ешь жмыхи, а ешь мясо — и будешь догадлив».

— Что ты там бормочешь, вражья сила? — между охами упрекнул его дьячок.

— Да лошадь и твой срам жалею.

— Ты уж, Тимоха, никому не говори, как я затмился глупостью.

Хотел Тимоха стребовать с Припопка чарочку за подмогу на болоте, да побоялся слишком большой наглостью ловкое дельце испортить, оставил до другого случая.

Опять дни пошли у шута Тимохи скучные, безродные, и оттого начал хиреть он — без проделок, без зубоскальства. Видно, наскучил людям. Вон и седина в бороду бросилась, а он все, ровно маленький, потешками балуется.

И быть бы Тимохе-шуту в забвении, но тут завелись разбойники, целая шайка лютых и куражливых, житья от них нету. Мужики стали бояться ездить на базар в уезд.

Тут-то и вспомнили Тимохину предприимчивость.

— Одно спасенье — Тимофей Егорыч. Он один у нас горазд на прехитрости.

Подступили к нему с поклонами да почитань-

ями. А он ни в какую. Два раза спасал вас, и что? Трын-трава и всё — сукин сын.

Еще раз подступились — отказал.

Стали действовать через жену, всякого добра нанесли. Начала она печь блинки с маслом, а под это угощенье заводит разговор о разбойниках, мол, и лучше бы кормила, да на базар боится ходить.

— Кому ты нужна, плешь полосатая! — говорит ей Тимоха. — Стара, бедна.

— Поговаривают, что они и старых заобижают.

— Ах так! — рассердился Тимоха. — Век бы им сидеть на куриных яйцах да дохлых цыплят высиживать. Для меня разбойники — дело плевое. Изведу! К тому же сон мне был.

— Какой, Тимошенька? — подластилась жена.

— Какой? Да хрен с клюквой. Из глыбка плывет рыбка. И ко мне с вопросом, что, мол, не запохаживаешь? Щук удить не хочешь, а нам мочи нет, все наше потомство — в пропаде. Наведи строгость, Тимофей Егорыч. Что ж, отвечаю, государыня рыбка, на ершах и щука давится.

Вот отправился Тимоха в лес на лыжах, спустился к озеру на разведку, может, разбойничьи тайники обнаружатся. Походя подстрелил птицу, решил рябчиком подкрепиться. Развел костер, поставил горшок на огонь, сидит у грудка, греется, сам себе сказки рассказывает, загадки загадывает, сны пересматривает. Замечтался совсем, забыл, где и находится. А горшок упарился — готов рябчик.

И вдруг услышал Тимоха с дороги громкий конский топ, удалой посвист. «Разбойники, черт их дери!» — догадался Тимоха. Быстро снегом

притоптал костер, а горшок с рябчиком поставил на пень и прикрыл мешком. И тут разбойники по целику на него прут, коней, видно, на дороге оставили.

Тимоха незаметно сдернул мешок с горшка, взял щепку, помешивает себе в горшке.

А разбойники топорами звенят, ружьями пощелкивают.

— Кто такой будешь? — спрашивает костлявый, по виду есаул разбойничий. — Что робишь?

— Сам себе — сотник, а в лесу охотник.

— Складно баешь, — построжал есаул. — Хилый ты, дядька, для охоты.

— Это как сказать, — обиделся Тимоха.— Хоть тело в кармане, а душа в кульке. Вот обед себе сготовил. Ого, рябчик-то перепрел.

А горшок свое дело знает, сытный пар да духмяный навар в нос шибает.

— Что это ты над горшком щепой-то размахался, нешто колдуешь?

— А посмотрите сами, господа охотники, — отвечает им Тимоха, — подойдите и сами посмотрите, что с горшком-то деится.

Давятся разбойники, напирают посмотреть. Видят, горшок на сыром пне стоит, а булькает, кипит, пар от горшка столбом валит.

— Отродясь такого не видывали, чтобы... чтобы без огня, без жара, без костра, без пала пища сама по себе изготовилась, — загудели меж собой разбойники, все двенадцать.

— А я и без огня поставлю на пенек, глазом моргну, слово сглотну, щепкой помашу — и горшок сам варит, сам парит, сам и соответствует сроку. Горшок-самогрев, слыхали? Есть такие за границей.

Разбойникам стыдно, что не знают, не слыха-

ли, что в заморских странах есть горшки-самогревы.

Ой, как понравилась им эта штука, стали разбойники просить:

— Продай нам, охотник, этот горшок-самогрев, нам он очень годится. Промысел у нас такой спорый бывает, что не продохнуть. А в горшок твой что ни положи — мигом сварится. Да и бабье это дело — стряпня, а тут все самоспособное.

— Нет, господа вольные люди, хоть вы мужики серьезные, а горшок-самогрев и мне вот как нужен!

— Мы можем у тебя и задарма взять, а поскольку ты к нам с уважением, не можем осердиться на тебя. Продай! Нас вон сколько, а ты один — обойдешься.

— Раз так, лучше по-доброму продам, если дело такое... — вроде нехотя согласился Тимоха. — Продать можно, лишь бы деньги дали хорошие.

Поторговался Тимоха для вида и взял с разбойников десять рублей. Деньги в ту пору большие — три коровы можно было купить.

Покопались разбойники в своих кошелях, подвешенных на вороту, достали деньжата и, хлопнув по рукам в знак добровольной сделки, вручили лукавцу.

Тимоха рад, что так легко обманул лихих людей, и такую присказку им сказал:

— Горшок и палочка — одна парочка, угли зауглены, круги закруглены, помах к помаху, жар жарит, пар парит.

Подивились разбойники несерьезной речи, поспешили расстаться, поскорей атаману покупкой похвастаться.

Тимоха тоже спешит. А чтоб не узнали, кто он и откуда, направился прямиком в город: пусть потом, как спохватятся, думают, будто он городской.

Накупил он в лавках подарков: шаль с серебряной каймой — супруге, фарфор всякий стозвонистый, а сыновьям на случай их приезда по енотовой шапке.

Жена, как вернулся Тимоха домой, на радостях напекла ему блинов, густо смазала гусиным пером медом да маслом — перо от медов прогибалось. Наелся Тимофей блинов до ушей, напился пива-вина почти допьяна, взобрался на печку и уснул, держа в себе нутряное тепло, чтобы поскорее увидеть во сне снова, как он ловко обманул разбойников, ведь сердце, что ни говори, жгло сомнение: обман откроется, начнут злодеи его искать. Может, во сне выход благополучный привидится, какая-нибудь подсказка явится, как избежать расправы.

И явился во сне ему дьячок Припопок, уже к тому времени отошедший в мир иной — с огорченья ли, от наклонности ли к «бесовскому зелью». Воздел дьячок руки над головой Тимохи, а руки у болезного и на том свете дрожат с похмелья.

— Худо тебе, Тимофей, худо. Хоть превелико огорчал ты меня проказами и зловредством, да ладно. Вот что скажу: лихих людей обманул — во прощенье. Есть смысл еще раз обмануть. А на это ты горазд зело. Тогда, может, отстанут.

Проснулся Тимоха, рад, что увидел охранный сон. Рассказал его жене. Та обрадовалась, перекрестилась.

— Слава тебе, Господи, не забыл кум и в замогильной жизни нас, грешных. Ты уж, Тимо-

фей Егорыч, слушайся его, тогосветного советчика.

Вот взял он с собою неизменного пса Капрала и отправился в лес на охоту. А перед тем поймал двух птичек-синичек — одна к другой, не отличишь. Одну положил себе за пазуху, другую оставил жене наказав:

— Смотри, баба, чтоб напекла к обеду гору блинов да пирогов, сканцев с кашей, беляшей в масле и другие заедки. Да получше, да погуще, а то с живой шкуру спущу. А эту птичку держи на окне.

Так вот, пошел в лес с Капралом, в ту самую сторону, где, по слухам, находился разбойничий штаб, значит, головка их грабежная. Ходит себе по лесу, посвистывает, песни попевает, а птицу увидит — в птицу стреляет. Не попадет — хорошо, а попадет — и того лучше.

Уже солнце поднялось высоко над лесом. Тени на зеленых ногах выбежали из леса. Притомился, сел под сосною и тут же услышал: идут люди по просеке, переговариваются, подходят, топорами звенят, ружьями пощелкивают.

«Разбойники, — решил про себя Тимоха, а у самого от страха поджилки трясутся, сердце, как ружье, пощелкивает, — надо ответ держать. Ну да ладно, негоже раньше времени умирать. На что смысл в мысли даден — обеду!» И сразу повеселел, встряхнулся, поджидает лесных хозяев.

— А вот ты и сам личной персоной, — говорит костлявый разбойник. — Так ты что это, анчутка, обманул нас со своим горшком-самогревом. Деньги у нас взял настоящие, а горшок — негодящий. Мы уж и палочкой над ним махали, а щей не сварили. Сукин ты сын, ничего, кроме смерти, не заслуживаешь.

— За что меня убивать? — взмолился Тимоха. — Вы же только палочкой махали, а слов моих заговорных не слышали, что ли? Без них хоть год помахивай палочкой-то. А без приговора «Горшок да палочка — одна парочка...», и так далее, — ясно, варить не будет.

Усомнились разбойники в своей правоте: и впрямь ведь слышали заговорные слова, да не дошло, к чему они. Даже на Тимоху погрешили, мол, слабоумный, заговаривается.

А Тимоха сразу осмелел, еще напористей наступает:

— Вот то-то и оно. Не верите мне, значит? Так глядите. Вот в руках у меня синица, птичка малая, но не обыкновенная, а птица-посол, ставь хлеб-соль на стол. Стоит нашептать ей несколько слов, и она стрелой полетит к моей бабе, чтоб та готовила на стол пирожки да расстегаи, блины пекла, чай кипятила.

— Пожалуйста, сделай такую милость, отпусти ее к своей бабе, пусть прикажет обед готовить, а мы, к слову, проголодались, вот бы пирогов с расстегаями и отведали.

— Отчего же, господа лесные жители, — с ленцой так, вальяжно отвечает им шут Тимоха, — с нашим превеликим удовольствием.

Пошептал он птичке что-то на ушко и отпустил. А птичке-синичке только того и надобно — мигом скрылась из виду.

Идут разбойники следом за Тимохой и так рассуждают меж собою:

— Неужто это не обман? Да как можно, чтоб эта пигалица речь человеческую в понятие брала, приказы хозяйке отдавала?

Приходят они в Тимохин дом. А у бабы уже блины маслом помазаны, пироги дымятся, рас-

стегаи жаром пышут, самовар вскипел, а хозяйка последний чугунок с кашей из печки ухватом тащит.

А на подоконнике прыгает и зернышки склевывает та самая синичка-востричка. Ну и ну!

Сели разбойнички за стол, блины с жару с пылу во рты отправляют, пироги кусают, расстегаи уплетают, кашу глотают, чаи попивают. Ждут винца-пива на посошок для залива и хозяйку на все лады похваливают, но все больше и больше птичке удивляются.

— Ну и птица у тебя, Тимофей, важная. Не птичка, а клад. Продай ее нам. Век благодарны будем. Она бы нам очень изгодилась. Другой раз по лесу намотаешься, холода нахватаешься, далеко забредешь, а домой придешь — дома ничего не готово. А будь такая птичка, послали бы посла к бабам, она бы им — верстаите на стол обед, работники скоро вернутся. Продай ее нам, уважь.

— Так уж и быть, ради уважения добрым людям, — лениво откликается Тимоха. — Отчего не продать, была б цена подходящая.

— А сколько просишь?

— А нужно мне — не натужно: кол впереди и дырка позади. Не много и не мало, а червонец.

Покопались разбойники у себя за воротом в кожаных кошелях, достали деньги и с поклоном вручили Тимохе.

Вернулись разбойники в лес, пошли на промысел, долго бродили — ни на кого не набрели. Надо домой возвращаться издали, вынули синицу и всяческих яств ей нашептали. Птичка ввысь поднялась и пропала из глаз.

Заявились разбойники домой, а на столах

шаром покати, давай бить своих баб, что ослушались птички.

— Сдурели вы, мужики-лесовики. Разум вам в лесу заложило, видно. Вон сколько птиц в лесу, и все немые. Одурачили вас, простофиль.

Сели разбойники на коней и нагрянули к Тимохе, связали голубчика по рукам и ногам и говорят:

— Не жить тебе, паршивому мошеннику, на земле, чтоб людей не дурачил. На сей раз тебе, обормот, найдем укорот.

Зашили Тимоху в куль — для потехи вместе с котом. Это чтобы не скучно было под темной водой. Пусть мурлычет сказки, как не надобно сурьезных людей в обман вводить.

Привезли на возу куль на середку озера, а пешню, чтобы прорубь просверлить, забыли взять.

Подумали-посовещались разбойники, решили — пусть куль постоит на холоду, заледенеет, а потом пусть в воде отмокает. Куда куль здесь денется? Место дикое и опасное. И пошли себе за пешнями.

Сидит Тимоха в мешке, мерзнет, кот у него на брюхе греется. Жалуется Тимоха коту:

— Ну, Кот Ерофеич, пожили мы с тобой, поели блинков с маслом, час настал расплачиваться за все. Летал высоко — потоп глубоко. И тебе жилось неплохо, шерстяная душа.

Кот мурлычет, жмется к Тимохе. И шуту ой как не захотелось умирать. Стал молиться он Богу, каяться в своих плутнях, да так слезно, что услышал его Господь, простил и спас. Вот как это было.

На ту пору ехал мимо подгулявший барин-кутила, решил путь скосить (благо зима) — и через

озеро. Вдруг барин слышит голос. Осмотрелся — куль разговаривает и шевелится. Глазам своим не поверил. А это Тимоха услышал колокольчик и давай орать:

— В судьи хотят ставить, а грамоте не умею. В судьи хотят ставить, а грамоте не умею...

Остановился кутила возле куля, развязал его и вызволил на белый свет Тимоху, а кот сам выскочил.

— Как ты в куле-то оказался? — спрашивает барин.

— Да вот, добрый человек, хотели назначить меня судьей, а я как есть малограмотный, напутаю в делах — самого посадят. Я и отказался. А меня за это — в куль, мол, ты самый у нас грамотный и не смей отказываться.

— А кот для чего в куле?

— Да чтоб было кому речи судебные сказывать, для навыка, стало быть.

Выслушал кутила Тимоху, и захотелось ему спьяна судьею сделаться, людей судить, взятки для кутежа брать и тех, кому задолжал, стращать.

— Ну, братец, если ты сам не хочешь в судьи, я-то пограмотней тебя и более сподручный для такой должности. Пусти меня в куль.

— Отчего же, — лениво отвечает Тимоха, — можно, только надо, барин, для натуральности одеждой поменяться.

Барин снял енотовый тулуп, яловые сапожки, надел Тимохин кафтан и засел в куль, который Тимоха тут же и зашил.

В барском тулупчике сел Тимоха в барские сани, укрыл полостью мурлыку, свистнул посвистом — и влет помчал.

А кутила промерз в куле, стучит зубами и твердит:

— В судьи хотят ставить, и я согласен, в судьи хотят ставить, и я согласен... Я грамоту знаю...

Подошли разбойники, слышат причитания в куле, говорят:

— Это еще одну пакость хочет Тимоха с нами сделать, лучше не слушать.

Пробили прорубь и сбросили куль в озерную черноту — пошли по воде пузыри.

— Вот тебе и горшок-самогрев, и птичка-посол. Теперь не выскочишь со своим котом, вон как пузыришься, сукин сын.

Пошли домой, а навстречу им Тимоха на расписных санях, развалился в енотовом тулупчике, в яловых сапожках, а под дугой колокольчик пляшет, заливается. И кот из-под медвежьей полости мордочку высунул — усы в инее, тоже барин, видать, большой.

Разбойники несказанно удивились, ахнули — дело-то небывалое, силой потусторонней пахнет. Сняли боязливо шапки, кланяются.

— Сделай милость, Тимофей Егорыч: как сталось, что ты живой и лошадей нажил и сани расписные? Ведь мы только что утопили тебя в проруби.

— Спасибо вам, господа разбойники, сделали вы мне доброе дело, на дно озера опустили, а там всякому, кто с этого света спустился, и лошадей дают, и возок, и одёжу. Такое, знать, место нашли — заговорное.

— Ой, свет Тимофей Егорыч, и для нас поусердствуй, спусти и нас в озеро, коль дорогу туда знаешь. А мы тебя отблагодарим.

— Отчего же, — говорит Тимоха, — отчего же, можно. Прыгайте моим манером, а я погляжу, посоветую, коль понадобится.

Почали прыгать разбойники в прорубь —

только брызги летят. Вот уже трое отправились. А кто поосторожней, ждут их возвращения.

— Чего же, Тимофей Егорыч, не возвращаются-то? Должны бы уж и обернуться.

— Ах, братцы, — ответствует им Тимоха, — они не как я, я-то до этого промерз очень, а им теплей, вот они и выбирают коней получше, сани поосадистей, шубы потяжелей. Я-то сразу что увидел, то и схватил. А они мужики оглядистые, лучшего хотят.

— Так и нам не достанется! Спускай нас поскорее в воду.

— Да прыгайте по очереди, не толкайтесь и по дну разбегайтесь в разные стороны.

Как попрыгали, Тимоха для верности посидел у проруби. Рад-радешенек, что жив остался и от злодеев навсегда себя и округу избавил.

Шутил шутило. А тогда это было, когда печки летали к проталинке, а соловьи грызли семечки на завалинке. Я одну погрыз и тут же раскис.

# ДОГАДА И РАЗБОЙНИКИ



Жили-были богатые родители, и была у них дочь; для них — отрада, а для всех — Догада, столько было в ней души и разума.

Бывало, возьмет в руки засохшие цветы — и они в ее руках оживают, лепестки распрямляются, наливаются розовым цветом.

— Это душа в них просыпается. Я подышала на них — и они начинают тоже дышать, — говорила Догада.

Родители в ней души не чаяли и не боялись оставлять ее одну, потому что никакая беда не подходила к ней близко.

Вот как-то отец с матерью запоезжали на свадьбу и сказали дочери:

— Мы ненадолго, так что оставайся одна.

— Батюшка, матушка, боюсь одной оставаться. Сердце что-то чует недоброе, а сказать не может.

— А ты позови, доченька, подружек любезных на посиделки.

Так и уговорились.

Как уехали родители, созвала Догада подружек на посиделки. Сидят, вечер коротают, пересмешничают, песни девичьи поют. Кто шьет, кто прядет, кто вяжет, кто вышивает. Одна из подружек забылась в песне и уронила веретешку. Покатилась веретешка да скатилась под пол.

— Ой! — вскрикнула девица и полезла в подпол за веретешкой. Только спустилась, потянулась за веретешкой, а там сидит разбойник со страшными глазами и грозит ей пальцем.

— Цыц! Только выдай кому — убью.

Девица сама не своя вылезла к подругам, веретешка в руках запуталась. Немного очухалась — толк-толк локтем под бок одну подружку, другую, шепотком подруг предупредила, а Догаде побоялась сказать.

Засобирались девицы-подруженьки домой.

— Чего это вы спешите? — спрашивает их Догада. — Ведь обещались вместе ночь посидельничать.

— А, — говорят одна за другой, — работы в дому много. Матушка наказывала до утра не засиживаться.

Вот собрались, попрощались и ушли.

А ночь за окнами темная, бесовская. Звезды играют в прятки друг с другом.

Вот вылез разбойник из подполья, подступил к девице с допросами:

— Показывай, где спрятаны твоего отца клады. Да смотри ничего не утаивай.

А голос у самого хриплый, толстый. Помялась Догада для вида, а у разбойника желваки по скулам от злого нетерпения перекатываются.

— Поспешай, девица, поспешай. Мне некогда уговаривать, — говорит.

И вынул шашку острую.

— Ну что ж, — отвечает ему Догада. — Раз дело такое серьезное — покажу батюшкино богатство. В подполе оно спрятано.

Зажгла она две свечки и спустилась в подол, за ней — разбойник.

— На вот свечки, посвети, а я тебе покажу место, — говорит ему Догада.

Разбойник принял в обе руки свечи, а саблю положил рядом с собой.

— Вот и клад, смотри.

Разбойник наклонился над мешками.

Схватила тут Догада разбойничью сабельку и зарубила злодея, положила в мешок и крепко-накрепко завязала веревкой, длинный конец перебросила через перевод, едва вытянула мешок с мертвецом в избу. Волоком подтащила она его к окну и стала ждать, что дальше будет.

Ночь за окном угрозно чернела, страх наползал со всех сторон. Догада потушила свет в доме и затаилась.

Вдруг на дороге раздался осторожный топот копыт, глухой шум. Кто-то подъехал к окну и тихо спрашивает, шепелявя и причмокивая:

— Чмых-чмых, что, братец, управился с делом?

Догада запомнила голос убитого разбойника и сипло так отвечает:

— Все готово, братцы, принимайте мешок. Я вам через окошко подам.

— А почто так?

— Дверь немазана скрипит. С окна темно, соседи не увидят. А я еще тут пошарю, авось еще что-нибудь найду.

— Лады! — отвечают разбойники, укладывая мешок. — Темно, любо! — И отъезжают.

Вот возвратились разбойники в свое разбойничье логово. Стало уже светать. Развязали мешок-то и все поняли. Атаман даже потемнел лицом, весь сгрюмился.

— Что ж, обманула нас девица. Ничего, от нас не уйдет Хитра, а мы перехитрим. У нас так — шыр-пыр, и готово.

А в это время возвратились и родители Догады домой. Догада не стала им ничего рассказывать, чтобы не расстраивать, мол, если что, сама справлюсь.

Прошло какое-то время Зима еще пуще зазвездилась снегами; отбелились поля морозами окна истончились изморозью Наступали сроки свадеб. Зазвенели серебряные колокольчики под дугой. Вороные, выгибая шеи, принесли к Догадиным родителям во двор сватов: и все такие нарядные, в яловых сапогах, полотенца на плечах А жених всех нарядней Высок Плечист И нос золотой Поклонились сваты да жених родителям в ноги и говорят·

— У вас — товар, у нас купец Приехали не даром, а приехали за товаром Со всяческим уважением к вам.

Понравилась родителям такая обходительность, да и гости — нарядные, разговорчивые, и жених — нос золотой — пригляда.

— Согласны торговаться, - отвечают родители. — Купец у вас видный, человек солидный и нам пригож

А дочь-то приметливая, признала по голосу в

сватах разбойников. Прихватило ее душу, как морозом лозу, страхом-ужасом.

— Что вы, что вы, батюшка-маменька, — шепчет она родителям, — это же разбойники, давеча они у нас бывали.

— Ой, доченька, — отвечает ей мать, — затмилась ты умом, видать, с добра-радости. Какие тут разбойники, эва, чего удумала на людей достойных.

— Да их по голосу признала, — шепчет батюшке Догада.

— Что с тобой, доченька? — спрашивает батюшка. — Примнилось невесть что с недосыпу. Разбойники — тряпошны, и речи у них прохудливые. А эти нарядны, чисты, и обходительны, и не таятся...

И отдали Догаду, не послушались остерега дочки.

Свадьбу сыграли хорошую и громкую. Разбойники плясали вприсядку, а жених — золотой нос — играл на гармони, и нос его золотел, как царский рубль.

Уж ты утица,
Утка серая,
Златокрылая,
Шатра бесова
Свет Борисовна.
Ой, Борис-сударь
Как всю ночь не спал —
Все коня седлал,
Со двора съезжал, —

пел Борис золотой нос и давил в руках гармонь, как утицу — лебедь.

— Любо! — кричали гости-разбойники. — Любо!

Вот обвенчали жениха с невестой, посадили

на тройку, гикнули и повезли в леса темные, неезжие, где стоял вкопанный в землю дворец.

Завели Догаду в комнаты, а комнаты — в крови, на комодах черепа, под кроватями человечьи кости. А в красном углу, где должны быть образа, там красный черт повесил качели, зацепился за них хвостом, качается, рыжий язык показывает.

Глянула Догада на жениха, а тот провел ладонью по лицу — и никакой не атаман, и никакой молодец, а деревенский дурачок — мокрые губы, лицо кривое, слюнявое.

«Да как такой мог играть столь ладно на гармони?» — только успела подумать Догада, как черт перехватил ее мысли и закричал с качели:

— Хоть и Догада ты, а обмишурилась: на гармони-то играл я сам в невидимом обличье.

— Что будем делать с нею? — говорят разбойники. — Надо не мешкая резать ее на куски.

А дурачок Борька загляделся на девицу: лицо чистое, белое, лоб ясный, а на губах, как роса, упокойная молитва. Девица-краса сердце дурню прожгла.

— Братцы-разбойники, — попросил дурачок, — дайте хоть одну ночь с нею потешиться-переночевать. Куда ей деваться?

А дело было уже позднее, да и лихие братцы устали, захмелели, уплясались.

— Ладно, нам не досадно, — сказали усмешливо злодеи. — Одна ночь — вмочь, а две — по голове. Да смотри, будь настороже. Хоть и пава, да лукава. И сторож у нас есть — бес приученный.

Разбрелись разбойники по хоромам, да кого где сон застал, позасыпали, кто храпя, кто сопя.

А в комнате у Догады одна сиротская свечеч-

ка теплится, а в дверях бес сидит, кулаком сопли утирает.

— Чего ты сидишь, глаза пялишь, чего ты можешь?

— Все могу, — отвечает бесок.

— А в бутыль не залезешь, — засмеялась обидно Догада.

Муж дурачок. Что с дурачка взять, а тоже хмыкнул:

— Ы-ы, а что, слабо́!

Бес и впрыгнул в бутыль вниз головой, где было наполовину водки, нырнул в зелье, нахлебался, еле-еле перевернулся и тут же пьяный заснул.

Подошла Догада к бутыли, налила стакан водки, поднесла дурачку.

— Выпей за мое здоровье, как за законную тебе супругу и для силы.

— Ы-ы, хмы, — загундил дурачок Борька, — я телом дороден, на всякое дело годен, давай!

А напиток на чертенячьей саже-то и черен, и убоен. Кто умен — станет ду́рнем, а про дурака и речи нет.

Выпил Борька хме́лево, поперхнулся, все нутро ему ожгло полымем, глаза полезли прямо к чубу, губы почернели, зашатало его, бедолажного, последний ум затмился. Стоит — без огня горит.

А она и говорит:

— Спусти меня за окно, хочу цветы сорвать.

Хоть и затмился дурак, а спрашивает:

— Убежишь, поди? Вон бес-то — сторож — спит.

— А ты привяжи меня за пояс веревкой.

— И то правда. — Рад-радешенек угодить ей дурачок.

Вот привязал ее за пояс и спустил за окно, а она незаметно прихватила с собой бутыль с пьяным бесом. Спустилась, осмотрелась, отвязалась, а вместо себя привязала козу и во всю мочь побежала в лес: дорогу-то она примечала, как везли ее сюда.

Стоит дурачок, держит конец веревки, шатает его хмель: то ли спит, то ли горит. А как прочухался чуток, потянул веревку на себя. А коза:

— Ме-ме-ке-ке, мекеке.

А дурачок ей, боясь, что услышат сотоварищи:

— Тише ты! Чего ты мемекекаешь, ведь наши проснутся.

А коза висит на веревке, больно ей.

— Мекеке, мекеке!

Еле-еле вытянул дурачок козу. Увидел рога, бородку, копытца. Неужто беса вытянул? Или примерекалось?

— Как я тебя спускал, вроде была без рогов и копытец. А где цветы?

Ударил дураку в голову страх, понял наконец: что-то не так. Держит козу на веревке. Заплакал дурачок, обнял козу за шею да так и заснул на полу.

Проснулись разбойники, зашли в комнату к молодым и видят: спит Борька, обнимая козу, и на черных губах блажная улыбка.

Будят его:

— Что ты, дурак, наделал?

— Мекеке, — отвечает им дурак спросонья.

— А Бес Бесович где?

— Ы-ы, хмы, в бутыли.

Поняли злодеи, что Догада опять обманула их, оседлали быстрых своих коней, взяли злых собак и бросились в погоню.

А Догада бежит, оглянуться не смеет, торопится в домашнюю сторону. Видит она — едет мужик с кожами по дороге, едет, кнутиком помахивает, ветерком себя опахивает.

— Дяденька-дяденька, пусти меня под кожи, слышишь, погоня за мною.

— Что ты, — говорит, — эдакая нарядная — да под кожи, вся измажешься.

— Ой, дяденька, — говорит, — спрячь под ту кожу, на которой сидишь.

Он поднял кожу под собой, спрятал — и получился облучок.

Только он это устроил, а уж разбойники набежали, и собаки лают, заливаются.

Догада взяла и в щелочку плеснула бесовской водкой на кожу — все запахи тут же истлели. Плеснула и тут же опять закупорила бутыль пробкой.

Обступили скопом злодеи старика.

— Эй, возчик! — кричат. — Не видал ли тут девицу, не пробегала?

— Нет, — говорит, — не видал.

Стали в кожах рыться.

А собаки морды в сторону воротят, чихают.

Все перевернули до самого донышка. А возчик сидит себе на облучке, ухом не ведет, кнутиком помахивает, ветерком его опахивает.

Разбойники и поскакали вперед. Собаки за ними, но не так уж быстро, отбило у них бесовским хмельным духом быстроту.

— Дяденька, выпусти меня, — говорит Догада. — Тебе в другую сторону, а я опять побегу.

Возчик слез с кожи. Она поклонилась ему и опять побежала.

Вот бежит, бежит и опять слышит, что погоня с другой стороны на нее заходит. Вот беда-то. И тут видит — едет впереди мужик с корытами, с

ярмарки, вожжами потряхивает, ветерком себя опахивает.

— Дяденька, а дяденька, — говорит, — спрячь меня под корыта. За мной разбойники гонятся.

— Да в уме ли ты, девка, — отвечает, — такая нарядная — да под корыта?

— Ничего, ничего, — просит, — только спрячь побыстрее под корыто, на котором сидишь.

Возчик пустил ее под корыто, набросил сверху дерюжку и сел, дальше едет. А тут его и разбойники обступили со всех сторон.

Догада опять плеснула из бутыли с чертом — все запахи и растворились в воздухе. В нос собакам шибануло крепким, потусторонним духом. Взвизгнули псы, поджали хвосты и отбежали в сторону.

А разбойники спрашивают:

— Эй, мужичок, не видал, эт-та, нарядную девицу?

— Нет, барин, — отвечает крестьянин, — не видал.

— Врешь, тележная вошь, — кричат, — вот сроем корыта у тебя.

И начали лютовать, начали корыта опрокидывать, чуть воз не опрокинули.

— Никого, — говорят, — и здесь нету. Да и собаки молчат. Была бы, так учуяли.

Мужичок тряхнул вожжами.

— Но-о, рысачки, трогайтесь, милые, — причмокнул губами и потрусил дальше.

Не слышно стало шуму да гаму. Догада снова запросилась:

— Дяденька, выпусти меня!

Он ее и выпустил. Поклонилась Догада в пояс спасителю и побежала в свою сторону. Бежала, бежала, пыль ее покрывала, в глазах замутилось от бега, слышит — за нею опять погоня. Они уже

повсюду разъезжают, везде шныряют. А она бежит, бедная, лесом, окольными тропинками. Бежит где опушкой, где лесом, обходит большак.

А тут снова встречает старика с дровами. Едет, ус покручивает, сам над собой пошучивает:

— То тряско, то валко, а мне — ничего.

— Дедушка, а дедушка, спрячь меня под дрова.

— Что ты, дочка, вдруг придавлю.

— Ничего, — говорит, — лишь бы живой быть. Спрячь меж бревёшек, на которых сидишь.

Только спрятал ее старик да прикрыл, а тут и разбойники запоезжают, окружают. Собаки оклемались, тоже набрасываются.

— Эй, дедка, не видал ли где нарядной девицы?

— Нет, — говорит, — глаза у меня бегунцы во все концы, муравья за версту вижу, а девицы нарядной не видел.

— Хорошо языком чешешь, да только брешешь. Найдем — тебя первого убьем.

Опять Догада плеснула из бутыли, все до капельки извела. Остатки зашипели — у собак шерсть поднялась дыбом, а часть шерсти осыпалась на землю, как хвоя с подпаленной елки или известка сухая.

Все перевернули разбойники в телеге, все бревёшки раскатали.

— Все, нету ничего! — И отъехали дальше.

Вот не стало их слышно, Догада и запросилась:

— Дедушка, выпусти меня.

Старик ее выпустил. Она низко поклонилась ему и побежала. Бежит по дороге. Разбойники по сторонам рыщут, вот-вот на след нападут. Бежит Догада и слышит — опять погоня. Куда ей, злосчастной, деваться? Осмотрелась по сторо

нам — видит дупло и затянулась в него, сжалась, а в мыслях одно — как быть?

Собаки заливаются. Разбойники обступили дерево.

— Зверя, что ль, учуяли?

— Верно, девицу выследили.

— Можа, в дупло забилась? Хы-мы-ы, — раздался голос дурачка.

— Саблей попробуем.

Тряхнула Догада бутыль — лишь на донышке ссохшаяся шкурка беса вздрогнула, ужался нечистый, скочерыжился, стал похож на паучка.

— Ну, бесовская шкурка, выручай, — встряхнула Догада бутылочного узника.

Бес высунулся из бутыли и напустил порчу на собак, те, поджав хвосты, бросились кусать разбойничьих лошадей. Лошади, всхрапнув, понеслись кто куда.

Девица вылезла из дупла, отряхнулась и уже не спеша направилась к своему дому.

Стало темниться. В дом она побоялась стучаться, а вдруг там незваные гости ее поджидают. Забилась в сарае под сено, затаилась, слушает. В бутыли бес шевелится — шыр-шыр-шыр, — шелестит пересохшей шкуркой.

— Сиди тише! — прикрикнула на беса Догада.

Так докоротали до утра. А тут батюшка встал, пошел скотине сено давать, вилы воткнул, а Догада хвать за вилы и держит. Родитель испугался, закрестился: «Свят, свят». Догада услышала по голосу, что отец читает молитву, и говорит:

— Батюшка, а я здесь.

Вот привел он ее домой, усадил за стол, смотрит, а она и рассказала ему все.

— Нелады вышли, доченька. Счастливый — к обеду, несчастный — к ответу. Не послушали тебя, порушили твое счастье.

— Чего жалеть. Что было, видно, должно было случиться, — отвечает ему Догада. — Чует мое сердце — нагрянут они вот-вот.

— Что делать-то, подскажи.

— Иди к людям, объясни, что, мол, так и так. А как приедут разбойники — пусть люди окружают дом.

День прошел в ожиданье. И тут разбойники наехали. А Догада спряталась за печкой в мешке.

Ну вот, гости приехали, сватовья да зять в маске с золотым носом. Родительница самовар нагрела, посадила за стол, подперла голову руками, спрашивает:

— Ну что, сватушки и зятюшка, как моя дочь живет-поживает и чего не приехала?

— А она, — говорят, — в доме осталась хозяевать.

Сами же так глазами и рыскают по избе, злобятся, чуют обман.

А Догада шепчет бесу:

— Беги, садись на атамана и скачи на нем куда хочешь.

Бес прошуршал облезлой шкурой из посуды, тут же вспух обморочным облаком и — скок атаману на плечи да как пришпорил его копытцами:

— Гей, конь, скачи!

Замутился разум от такого дела у разбойников, в столбняк вошли.

А тут приспели деревенские люди с топорами, обступили разбойников и всех повязали, один только бес вылетел на атамане в окно и поскакал в свою черную храмовину.

И с той поры не водилось в округе разбойников. А Догада жила, мед-пиво пила. Я там был — и мне налила.

## БЫВАЛЬЩИНА
## О ВЕЛИКОМ ГРЕШНИКЕ КУДЕЯРЕ



Сказ не сказ, правда не правда, было не было, а только известно от старины глубокой, от людей бывалых про великого грешника, знаменитого атамана разбойников Кудеяра.

В лесах могучих, в дебрях дремучих, где макушки деревьев черно сходились вверху, что не было видно неба ни ночью, ни днем, жил этот разбойник. Жил в грехе, как во тьме.

Жил атаман, не тужил, богачей крушил.

Войдет купецкий обоз под деревья, в мертвую глушь, а там на повороте, середь дороги, в черной жуткой бороде, в одной руке нож, в другой кистень, стоит Кудеяр. В три пальца как свист-

нет — кони с копыт падают, с купцов шапки наземь валятся, как птицы пострелянные.

— А ну, душа кровососная, — скажет, держа купецких коней под уздцы, — а ну, мразь, поскорее слазь.

Чтобы усыпить атамана, проехать живыми-здоровыми кудеяровские леса, переодевались бары и купцы в крестьянские зипуны и кривые лапти.

А у Кудеяра не глаз, а алмаз, насквозь видит обман.

— Хоть в другой коже, а сердце все то же, — скажет. — В ноги пасть — пропасть, а кто ужом — полосну ножом. — И засмеется так, что в жилах кровь останавливается, сердце от страха промерзает до дна.

Сколько раз его хотели поймать то хитростью, то посулой, то облавой. Обложат со всех сторон — и мыши не проскользнуть, а он крикнет черную ворону себе в оборону, сядет ей на крыло — и был таков или в землю провалится, где ходы тайные, так и пройдет по земле целым и здоровым к себе домой.

Словом, и видишь, и знаешь, а никак не поймаешь, где замаячит — в глазах одурачит, напустит мороки-гипнозу.

Как-то сообщили властям: захворал Кудеяр, сила чудодейственная покинула его, самый раз брать его в плен.

Обложили лес войском, а тут вышел из лесу мужичок кривенький, на обе ноги припадает.

— Эй, человек убогий, — кричит ему стража, — а не знаешь, где тут Кудеяр?

— Слыхо слыхало, знанко бы знало, — затрясся в трясучке тот. — Как не знать, когда сам видел, как Кудеяр вон по той сосне до неба взби-

рался, месяц, мол, хочу потрогать рукою, а взобрался или нет, не знаю, слеп я, отсюда не разгляжу.

Задрали те головы кверху, смотрят, смотрят, никого не видно.

А мужичок выпрямился, большим оказался, смеется.

— Дурак как мешок: что в него сунут, то и несет, — сказал и тут же как сквозь землю провалился.

Спохватилась стража, поняла, что сплоховала, что это был не мужичишка драный, а сам атаман Кудеяр.

А еще другой случай. Был такой губернатор во всем настырный. Чего захочет — вынь и положь. Вот он объявил:

— Дам тому тыщу рублей, кто приведет ко мне Кудеяра. Хочу его переглядеть, а от разбойничьих чар я заговоренный.

Как-то подошел к его дому старикашка, лапти драные-передраные, сам неказистый, какой-то скособоченный, стал проситься к губернатору. Привели его пред грозные очи.

— Кто таков, — спрашивает губернатор, — как звать? С чем пришел?

— С судьбой-кривдой, — отвечает. — Зовут зовуткой, пришел насчет Кудеяра за тыщей рублей. Скажу, где он, как останемся вдвоем.

Отпустил начальник людей.

— Говори. — И на стол тыщу рублей положил.

— Сейчас скажу, — ответил старикашка. — Вот только золотые в торбу сложу.

Ссыпал деньги, тряхнул плечами, рванье с него спало на пол: стоит пред губернатором молодец косая сань в плечах, глазищи как костри-

щи — огненные. Стоит, усмехается, трясет торбой, золотые подбрасывает.

— Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком. Ну, ваше сиятельство, вот он я, Кудеяр, собственной персоной, хотел переглядеть меня, гляди, да только зенки свои не сожги.

Стали они глядеть глаза в глаза. Губернатор обострил свой взгляд, глаза-буравчики — пот покатился по лбу у Кудеяра от гипноза.

Глянул Кудеяр, уперся зрачками в зрачки, впился, как оса в цветок, — параличным холодом облился губернатор, язык высунулся изо рта. Черные чары проникли в его сердце, чует он, что становится маленьким, ровно в колыбели.

— Скажи — бя-бя! — приказал ему Кудеяр.

— Бя-бя, — забякал губернатор. — Соску хочу.

— Всунь палец в рот — вот тебе и соска. Сейчас я уйду, а ты соси соску целый день. Прощевай, ваше дерьмо-сиятельство.

Стал снова Кудеяр старикашкой, кособоко вышел из палат и не спеша заковылял в лес.

Прошло время, забеспокоилась челядь, постучалась в двери — раз, другой, третий. Нарешившись, вошли в палату, видят — сидит губернатор, нюни распустил, палец указательный чмокает, язык слюнявый еле ворочается.

— Бя-бя, бя-бя. А я видел Кудеяра. В люльку хочу...

Попятилась челядь к двери, смекнула — его сиятельство в затмении разума находится.

Чуть не отвезли губернатора в сумасшедший дом. На другой день чары сошли. Но с тех пор прицепилось к нему прозвище — Бя-бя, рехнутый.

А что? Даны были ему великие чары, но не меньше ума-разума, правда, ум этот был какой-

то черный, чародейный. Никто рядом с Кудеяром не мог устоять — такой гипноз от него исходил. Захочет человек соврать или обмануть атамана, но помимо воли говорит одну правду. Сердце корежится от страха от того, о чем он проговаривается.

Как-то прислали к Кудеяру шпиона от властей. Тот прикинулся разбойником.

Сел пировать с ним Кудеяр, а потом вдруг так зычно и спрашивает:

— Кто ты таков?

— Лихой человек, — ответил лазутчик.

— Мы так о себе не разговариваем. А говорим зубовато, серовато, по полю рыщем, овечек ищем. Волки мы, стало быть. Признавайся: кто ты? — И так посмотрел на него, что душа в том съежилась.

Раздели лазутчика, привязали к деревенской козе задом наперед и пустили по морозу. Пока тот доехал до села, превратился в ледяной кочан.

А было еще такое. Собрал один богатый помещик пир. Съехались знатные гости со всей округи в енотовых шубах, в шинелях с бобровыми воротниками. И все не просто ходят, а с вывертом, с каблука: вот, мол, мы какие шишки. Музыка играет, дамы важно прогуливаются в танце, лакеи изгибаются с подносами, шампанское лопушится пеной — любо-дорого. Такой пир и самим господам в диковину.

Только расселись господа за столами, а тут хозяину почтительно докладывают: дескать, какой-то важный начальник грозного вида пожаловал на тройке с серебряными бубенцами.

Вскать подкатила тройка к крыльцу, кони враз как вкопанные встали, бубенцы замерли. Сходит с дрожек с виду вроде молодой началь-

ник, но такой строгий — боязно даже смотреть на него.

Обходительно провели его к столу. Все поднялись с бокалами в руках и стали пить вино, похваливать друг друга и гостя нового заодно.

Хозяин выпил стакан-другой. Хмельная похвальба овладела им — он и понес:

— Вот вы все боитесь Кудеяра. Кудеяр, мол, Кудеяр, не поймать его, не удержать. Да попадись он мне в руки — не уйдет, на первой же гнилой осине повешу.

Встал тогда заезжий гость со своим бокалом, смеется, а глаза не смеются, озноб из них льется.

— Вот что я вам скажу. Пили-ели, кудрявчиком звали. Попили, поели — прощай, шелудяк. О ком это сказано?

Кто поумней уже стал смекать — что-то здесь не то. Гость незнакомый и смелый. И речь не барская.

А гость посмотрел на хозяина, как медведь на тлю, и еще сильнее смеется.

— А не думали ли вы, господа, что этот самый Кудеяр за одним столом с вами сидит?

Перетрухнули гости, стали оглядываться, смотреть друг на друга. Иные тут же засобирались домой.

Тут заезжий гость сдернул с головы парик и крикнул:

— А ну, шелудяки, хилые душонки, кому хотелось увидать Кудеяра?

Наставил на них пистолет, а господа с испугу сбились в кучу, трясутся, дамы в обморок попадали, генералы во фрунт встали, замерли на месте, как кол на тесте.

Свистнул в три пальца Кудеяр — птиц посшибало с деревьев, сбежались его люди.

— Вас, господа, на первый раз милую. Езжайте — дорога скатертью, да боле не попадайтесь. А ты, хозяюшка дорогой, обещался повесить Кудеяра. Что ж, долг платежом красен.

— Гусь ты шелудивый, — затрясся в ярости помещик, начальник уезда.

А Кудеяр ему и говорит·

— Мне гусь — не брат, кабан — не сват, утка — не тетка, а мне мила. Своя — пестра перепелочка. Ты хотел меня вздернуть на осине, так сам и лезь туда.

Повесили богача на осине, все добро его позабрали, остальное ро́здали дворне; свистнули в три посвиста — и гайда! — в леса темные, в места тихие, в терема подземные...

* * *

Говорят старые люди, что много кладов схоронил Кудеяр. Один из них — возле Хренниковой мельницы, по Ксизовскому большаку сорок бочек золота высшей пробы зарыто под площавым корнем в дурном верху под девятью зароками, девятью запретами. Кто тронет — того в землю вгонит, кто увидит — ослепнет.

Еще давно, когда бояре были как татаре, при самом царе Иване Грозном, Кудеяр ограбил царскую почту и все сорок бочек спрятал в подземелье, под корни дуба.

То же самое и на Лысой горе, что извечно прозывают Ендовиной, в Кузьмином лесу — три бочки золота тоже под чародейными запретами и под ворожейный зарок...

В этих местах когда-то жили силачи-богатыри, друг с другом горами перекидывались. А ныне какие пошли люди? Ножки с подкосом, уши

со звоном, а сами — с поклоном. Городище было, дома стояли теремные, со светелками. И меж этими богатырями Кудеяр силой своей ухватистой славился, хоть горами и не бросался.

— Жаль, — говорили они о Кудеяре, — очень жаль, что не с нами знается, а человек-то он нашей породы.

И Кудеяр с этими силачами не задирался. У них свое — богатство грабить и пропивать, а у него — своя, мстительная да губительная, страсть. Говорят, что был Кудеяр сыном Ивана Грозного от простой девки, а другие — будто сыном татарского мирзы и что жил он на Хопре.

Одно время Кудеяр был даже у этих силачей атаманом в темных лесах, где гудели сосны и звери жировали, такие леса, что и войти в них страшно. Чукнет сова, а кажется — бес. Под каждым пнем — леший живет, лишайник жует, грибом похрустывает, ягодой закусывает.

Так вот, говорят, умел Кудеяр с ними разговаривать, идет, а лешие у пней стоят, картузы снимут и кланяются.

— Ну как мои клады? — спрашивает их Кудеяр. — Охраняете?

— Охраняем, милостивый человек, все в точности блюдем.

Отсыплет им Кудеяр заговоренной ягоды морошки по горсточке, те лакомятся и опять — под пни видеть потусветные сны.

А силачи же, зная такое уважение к Кудеяру, чтили его за главного для себя человека.

Эти силачи никому не давали ни проходу, ни проезду. Если одному не под силу справиться с кем, то один разбойник бросал другому топор, а тот уже понимает, что идти надобно на подмогу. Так топорами и перекидывались.

Только ушел от них Кудеяр — скучно стало. Без выдумки живут силачи, сидни, оседлые души, а ему нужна была воля и риск, чтобы кровь играла, нервы жгло.

* * *

А еще есть другой сказ про Кудеяра и князя Куракина — близкого царю человека. Царь в нем души не чаял, давал ему волю ста слугам за один раз снимать головы с плеч.

На ту пору гулял по Хопру Кудеяр. Жил он в землянке, источенной мышиными норками. И посейчас в той развалившейся землянке находят кости человечьи, стрелы и кинжалы, казачьи пики и стрелецкие бердыши, кольчуги, татарские монеты, кольца и перстни.

На Хопре был крутой берег, и на крутом повороте его останавливал разбойник лошадей. Вот покажется обоз, как свистнет он в три пальца, как гаркнет: «Пади-и», — люди и попадают с телег. Все пообирает, богатых князей да бояр казнит, а возчиков отпустит, для скорости пинка поддаст еще.

А расправлялся он так: схватит коренную лошадь, хлестнет кистенем между глаз — та с копыт долой, а за нею падали другие лошади.

Как-то попался ему коренной жеребец, такой хороший, такой повадистый, глаза как уголья, холка волнистая — запал он ему в сердце. Кудеяр его не убил, а убил пристяжную — и тройка застопорилась. Убил он барина-еврея и его жену. Увидел дочку — красавица плачет, взял за косу, посадил на коренного и увел к себе в землянку в жены. Не долго та прожила сычьей жизнью. Както каталась она на этом самом жеребце, а жере-

бец был норовистым, с мраком в голове. Так вот этот рысак и убил ее задним копытом — к коню сзади нельзя подходить.

Не попадался Кудеяр в руки царскому войску. Но, видно, так донял власти: ни проходу, ни поезду никому не стало. Тогда и выслал царь тайно войско.

— Не управитесь — головы долой.

На каждого разбойника десять бердышей вышло.

Кудеяр встретился с ними. Накинулось на него разом четырнадцать человек. Первого он смял конем, второго — копьем, развернулся и еще восемь человек порешил. Но один из ружья ранил Кудеяра в голову, упал он с коня, тут на него накинулись со всех сторон, повязали и отправили в тюрьму.

Но вышло так, что князю Куракину захотелось найти красивое местечко, где бы поселиться, дворец поставить. И задумал он зайти в тюрьму и спросить разбойников — люди они бывалые, знают поди, где что. Задумано — сделано. И спросил он их:

— Кто лучшее место укажет, того и освобожу.

Так вот Кудеяр и предложил ему такое место: наверху, на холме, а вокруг цветы и травы, птицы поют. Там и поставил князь свой дворец, так приглянулась ему эта местность.

А Кудеяра по нерушимому княжескому слову освободили. Ушел он в леса озеро морщить и чертей корчить.

Кому — красное словцо, а кому присказку.

# ИВАН КОЛЧАН И РАЗБОЙНИКИ



На белой стежке лежали ножки, схватил их заяц и умчался за́ лес, за ним белка — укрыла щелка, схватил ежик — попал под дождик, схватил бобер — в нору упер, схватил мужик — в поле лежит. Даль дрожала — сказка бежала.

Шел дядька в лес — в заросли влез. Видит пенек, крякнул, сел на пенек. Тихо, глухо. Мужик в себя утоп. Вдруг что-то пискнуло, да так тонко-тонко, не по-живому. Видит — у пня поднялся на цыпочки грибочек. Мужик с пня слез.

— Кто здесь?

— Не топчи. Я — Иван Колчан, очнулся для разговора.

— Как так?

— В сто лет один раз мне говорить дозволено. Запечатанный я навеки, стало быть, — так сказал человек-гриб и тут же запричитал невесть о чем: — Зверь престрашный, зев ужасный хочет пожрать всю вселенну...

— Что так? — удивился дядька чуду, думая, что все это ему примеркалось, и на всякий случай перекрестился. Обратил глаза — а гриб уже ему по плечи вымахал: голова круглая и на ней красная шляпа. А сам усмешливый. Человек не человек, гриб не гриб. И с чего усмехается, когда плакать надо, если превратился в гриба-боровича. Обмер дядька от такого явления.

А человек-гриб ему и говорит:

— Не всегда был я такой А был силач силачом. Изводил злую силу, с колдунами знался, по полям ходил и почет имел. Если охота есть — слушай.

## 1

Жил старик со старухой, детей они потеряли, и остался у них один внучок-сирота Ванёк. Рос внучок смышленым, речи птиц и зверей понимал. Свистнет птица «тью-тью», а он переводит бабушке: «Пью-пью». Медведь в лесу заревет — значит, ищет мед. Деревья сами с собой разговаривают, а он слушает и понимает, что они славят звоном листьев весь Божий мир, как весна весенится и осень полыхалится, как зеленые их голоса прикасаются к тишине. Все ему в мире ро́дно, все чу́дно. Бывало, наберет листьев в подол своей рубахи и приносит бабушке заместо цветов. За это и прозвали его Колчаном.

А силища какая! Как-то попросились к ним

на ночлег бродяги. Накормили их, напоили, спать уложили, как добрых людей. А они дождались, когда все уснут, встали, повязали старика со старухой веревками, а мальчонку в догад не взяли.

Вот стали они собирать добро в мешки, спешат управиться.

А Ваня поднялся тихонько с полатей и хватил главного разбойника кулаком по голове — свалился замертво, как сноп.

Второй бросился на мальчонку с ножом, чтобы зарезать — и тут же врезался в печку головой А третий стал с испугу на колени.

— Отпусти, сынок. Я не разбойник. Я — подневольный сподручник.

Ваня подошел к нему, поглядел в него, просквозился в его глаза мраком — задрожал разбойник осиновым листом, скукыжился весь и вышел из избы деревенским дурачком. Голова трясется, губы мокрые от дурного блаженства.

— Тью-тью-тью! — засвистел он пташкой и запрыгал на одной ноге в лес.

Обозлились остальные разбойники на мальчонку и решили извести его заговором. Подкупили они колдуна Селентея. А тот Селентей колдовал на тараканах. Заколдует их, пустит в них порчу. И кого укусит тот таракан, тот становится болван болваном.

Вот пришел колдун к старику со старухой в избу. Странником притворился. А сам на иконы в углу не молится, крестится не по-христианскому, мелко, дробно, будто грудь почесывает. Старик со старухой того не видят. А Ваня приметлив, стал напротив глаз гостя незваного, мысли его тайные прочел. Следит за колдуном, а тот знай чай попивает, хозяев похваливает, а сам ти-

хонько бутылек открывает — тараканы ползут, расползаются. Тут же незаметно принес Ваня петуха, тот и склевал тараканов.

Стал собираться колдун в дорогу.

Ваня и дарит ему петуха.

— Дедушка, возьми петуха. Петух не простой — клады отыскивает. Где кукарекнет, там и клад.

— Ой, спасибо, внучок, — говорит колдун, — очень я твоей вежливостью доволен. Уважил старика.

А сам думает: «Ой, что-то пакостное надумал этот мальчишка».

Вышел за двор и выпустил этого петуха. Петух же, склевав заколдованных тараканов, сделался чумным, бежит за колдуном. Тот подхва тился бежать к лесу, а петух за ним — гребень красный, шпоры звонкие — чак-чак.

— Стой, старик, — кричит ему петух человечьим голосом, — я — твоя душа, жила в избе, спала в трубе, дым глотала, меня мотало. Соскучилась я по тебе.

— Изыдь! — кричит ей на бегу Селентей. — Душа моя закопана под змеиным гнездом, тремя заклятьями запечатана.

А петух шпорами звенит, крыльями бьет, догоняет.

— Стой, сукин сын! — кричит. — Стой, тля заедная! — И порх колдуну на голову, на самое темечко. А клюв у петуха медный, а сам петух вредный. Долб-долб колдуна в темечко.

Колдуну некогда колдовать, голову одной рукой закрыл, другой — за гребень схватил петуха, а гребень отвердел и заострился, как лезвие. Кровь по руке колдуна потекла. Жалко стало Селентею самого себя, вспомнил о ремесле. Ото-

рвал он от рубашки костяную пуговицу, приложил ко лбу — и стала его голова костяной, крепкой, как орех. Петух клюет в кость колдуна — череп звенит, как чугунок, а колдуну не больно, даже очень хорошо, словно весенний дождичек слушает. Заслушался Селентей, забылся. Тут петух сглотнул пуговицу и тоже окостенел, и в нем съеденные тараканы окостенели и стали камушками.

Вот пришел колдун к главному разбойнику.

— Ну что, Селентей, чего молчишь?

А колдун на свою голову указывает пальцем, а голова у него — каменная, как у идола. Вместо глаз — камешки недвижные.

Отмыл Селентей кое-как в заветных травах свою каменную голову, мыл да полоскал, пока она не отмякла, не задышала.

— Петуха чумного напустил на меня паршивец этот. Есть у меня врагиня Баба-ягиня. Знать, ее рук дело. Она мальчишке помогает.

— Что делать будем? — спросил атаман. — Может, клады под другие запреты положить?

— Не знаю, не знаю, — говорит ему Селентей. — Голова болит, да и заговоренная пуговица куда-то подевалась, а с ней и моя сила. И теперь я — колдун без колдовства.

Разбойник и колдун два года сидели друг против друга и придумывали всякие каверзы. Колдун весь иссох от усилий мысли, а разбойничий атаман скучал и пил водку, чувствуя себя то колдуном, то придурком. Он знал, что все смеются над ним, что не может справиться с каким-то мальчишкой.

Вот и решил ночью поджечь избу своего врага, а для этого с похмельной головой вышел на разведку.

Выглянул Ваня в окно: чего это незнакомый человек круги дает вкруг избы? Высматривает? Стал следить. Вот разбойник заглянул в сарай, потом на сеновал, покружился и ушел.

Стал Ваня чутко караулить его. Ночью услышал вкрадчивые чужие шаги. Тихонько вышел он на улицу, видит — в сарае копошится человек. Ваня прытко дверь на засов, а сам — шмыг за угол. Тут разбойник и стал заживо гореть в сарае, никак наружу не выкинется, прихватывает его жаром, на коже волдыри лопаются, булькают, волосы горят. Сгорел бы вовсе разбойник, да тут стена рухнула — вынесло его на свет божий. Зашел в сарай русским, выскочил — эфиопом. Головешкой двуногой.

С тех пор прилипло к атаману прозвище — Огарок.

Так вот, этот Огарок все никак не мог смириться со своим еще большим срамом и унижением. Теперь уже никто из разбойников не считал его атаманом. Оттого и взял Огарок посох в руки и ушел в странники, потому что к прочим бедам обнаружилась еще и хромота — стянуло сухожилия от ожогов. Не может он из-за хромоты далеко ходить. Ходит он, просит милостыню в своей округе и вместо псалмов разбойничьи песни жалобно поет, потому что не был молитве обучен.

Как-то раз пошел Ваня в город на ярмарку, а навстречу ему калека на посох опирается, ноги подволакивает. Странник не признал своего обидчика, а Ваня признал, остановился, снял картуз.

— Здравствуй, дедушка, далеко идешь?

— Ходил к броду толочь воду, есть карася, целовать порося, отнес на ладошке крошки Ер-

мошке, — занятно так и уклончиво говорит странник, и белая сторона его тела трясется, а черная, обожженная, недвижима.

Глянул Ваня в мысли старика, начертались они перед его глазами: красные свивы текут по воздуху — до сих пор горит старик сам в себе, горит в пожаре сарая. Жалко стало Ване бывшего разбойника.

— Дедушка, а как ты живешь? Где спишь? Где гостишь?

— Пришлёпка я этой жизни, — говорит ему старик. — Жило-было около — меня к нему пришлёпило. Живу в дырке, гляжу на подтирки, хожу по воле, стираю мозоли, а подвернется ступня — сплю у плетня.

— Ладно, — говорит ему Ваня, — вылечу я тебя, но только с зароком: вылечишься — к прежнему не возвращайся.

— Да как ты меня вылечишь, если сухожилия все искрошились и душа спит без просыпа.

Поглядел Ваня вокруг, стал смотреть пролетающие мысли всех людей, всяких обличий мысли: чудища и младенцы, скучерюжи и целые люди. Стоит, дожидается, когда нужная мысль начертается перед ним, наполнится веществом жизни. И вот появилась чья-то мысль в виде половинки человека. Ваня притянул ее своей мыслью к старику, к черной половине — и та сразу побелела, нога распрямилась, сухожилия от молодости зазвенели, волосы выросли прежние, молодецкие. Стал старик в прежнем виде разбойника, вовсе не огарком, а сильным и грозным атаманом.

— Ну что теперь будешь делать? — спросил его Ваня Колчан.

— В кабак пойду, с радости напьюсь, — отвечает ему детина.

— А дальше?

— Под кустом проснусь, травой протрусь и пойду искать себе невесту, чтобы жить семейно и честно.

Вот пришел разбойник в Ванино село и стал искать себе новую жену, прежние две сбежали от него. Нашел он вдову, памятуя, что первая жена — опойчатая, вторая — стекольчатая, а третья — хрустальная.

Заказал свадьбу, а никто не идет.

— С чего это? — спрашивает жених вдову.

И тут вдова повинилась, что она — дочка Бабе-яге, рожденная в твороге, копченная в колбасе, верченная в колесе, толченная в ступке, дымленная в трубке, моченная в ложке в лесной сторожке.

— Да как тебя угораздило от Яги-то родиться! — рассерчал бывший разбойник. — Опять помутилась моя жизнь. Не устою я в честности.

— Закрой чужой грех, так Бог два простит, — ответила вдовица. — Есть у меня пуговица зеркальная, потрешь ее — все, что будет, увидишь. Если снизу — что было, если сверху — что будет. Так слушай, живет твой ворог тут, рядом. Колчаном его зовут. Это он в своем зароке, видно, содеял.

— Дурень ты и простофиля, — ответила ему новая жена. — Да он, этот Колчан, так исспособил тебя, чтобы прославиться над тобой.

Бабье слово — шепотливое, отравное, занозило сердце разбойника. Озлился он, а не знает, что делать.

А его Ягиевна и говорит:

— Пригласи его в гости, а я ему в еду положу загробную ртуть — станет он ртутью. Сделаю я ему футляр, и станет он термометром — у нас в избе погоду показывать.

— Любо говоришь.

— Ум — кум, а умок — клубок, всяк запутается, — польстилась Ягиевна на похвалу.

Вот пригласили Колчана в гости новую семью посмотреть, посадили в красный угол, угощают. А Колчан сидит и смотрит, как их мысли летают по комнате, начерченные в воздухе, а иные — между собой разговаривают. Вот одна мысль, как воробей, подпрыгивает перед такой же обличьем. «Вот-вот-вот, сейчас глотнет и станет ртутью» — это думает Ягиевна. «Так-так-так, будешь ты у нас погоду показывать» — это мысли самого хозяина свиваются и отбивают чечетку.

«Что это они замыслили? — думает Ваня Колчан. — Надо быть осторожней и мысли их хорошенько рассмотреть».

Вот серое, круглое существо вдруг позеленело, как трупный яд, а рядом — белая ртутная капелька дрожит, корчится, а тут — и другая, такая же кругленькая. Видит Ваня Колчан, что это глаза хозяйки белесые, шныркие замерзли. Потом по ним потекла ртуть, остановилась, вот-вот прольется. Колчан сразу смекнул, что его будут травить ртутью, и не простой, а загробной.

Нужно было спасать себя.

Вот хозяйка поставила на стол водку и угощенья, разлила в два стакана, пододвинула мужчинам.

— Э-э-э, это не дело, — сказал Колчан, — а себе?

— А что себе? — сказала Ягиевна. — Я должна следить за столом.

— Надо губы насладить. — Колчан налил ей в пустой стакан водки, а когда ставил перед ней — незаметно заменил своим.

— Со здоровьицем вас! — ласково запела хозяйка, выпила — и тут же стала ртутным столбиком.

Разбойник, увидав такое, поперхнулся своей водкой и заел пирожком, который ему тоже незаметно пододвинул от себя Колчан. Руки разбойника тут же остекленели, во рту зазвенел язык, как хрустальная рюмка. Он внезапно вытянулся, и Ягиевна столбиком ртути поместилась в этом стеклянном футляре. И стали они большим термометром, а на шкале стояла цифра 38 — градусы напитка.

Колчан завернул в мешковину этот прибор и поехал к себе домой, думая о причудах жизни и бесовского отродья.

На заре кто-то постучался в окно его дома. Это на костлявых ногах пришла Баба-яга, вокруг ее головы вились туманы.

— Я пришла за дочерью. Она мне нужна. Верни мне дочь.

— А что за это мне? — спросил Ягу Колчан.

— Дам я тебе в тряпице соль, осталась еще от бабушки. А соль не простая: высыпешь щепотку — станешь невидимым, высыпешь две — бессмертным, а все три — попадешь живым на тот свет.

Так они и обменялись. Старуха ушла, ковыряя кочергой дорогу, а Колчан стал думать, что ему далее делать. Он давно уже возмужал и не хочет сидеть сиднем возле родителей. Взял Кол-

чан торбу с едой, оделся-обулся, попрощался с родителями и пошел по дороге куда глаза глядят.

## 2

Вот шел, шел, шел, где по полю, где дорогой, где болотом, где лесами, а где — по пустоте.

И увидел: в поле-покате на красном закате стоит старичок, и такой древний, что ветер его шатает, стоит, на посох опирается, путника дожидается. Подошел к нему Колчан.

— Здравствуй, дедушка, — поприветствовал его Колчан.

— Куда путь держишь? — спросил его старичок.

— А иду я, дедушка, куда меня ведут три батюшки: батюшка ветер, батюшка месяц да батюшка солнце. Силы во мне выросли могучие, хочу себя показать, каков я по силе и по уму. Иду туда, где правда живет.

— Добро, — сказал старичок, — мы, кажется, в одну сторону идем, а в дороге я тебе кое-что расскажу в науку.

И пошли они вместе по долгой дороге мимо месяца и хмари, мимо заката и поля, мимо болот трясучих и песков сыпучих, речек кипучих, лесов дремучих. Туда пошли, где правда живет.

Шли они так, шли, видят: избушка в дубу подвешена, листвой завешена, а с нее свешивается веревочная лестница. Забрались. Никого. Видят, на столе стоит свечка, да такая малюсенькая, всего с ноготок, еле-еле держится на ней огонек, ветер чуть дунет — ее колыхает, а дверь распахнешь — совсем погаснет.

— Так вот, молодец, это и есть правда. Считай, один фитилек, — тихо сказал старичок.

— Ой, не потухнет? — испугался Колчан.

— Не смотри, что огонек слабый. Кто раз поглядит — долго помнить будет, кто минуту — тот вечно, а кто поболе — душа проснется. А больше нельзя.

Постояли чуток, чувствует Колчан, что сердце у него зашевелилось, защемило, светы в душу вошли.

Поклонились они свече и тихо спустились по лестнице обратно.

Обнял старичок Колчана, перекрестил.

— Ну, ступай с Богом, ты благословился от правды.

Теплом опахнуло Колчана, затмило светом глаза: все вокруг вроде стало ярче и крупней, а старика не видит. Исчез старик. А сам Колчан стоит в пыли на дороге, и никакого леса нет, и никакой избушки — голое поле и над ним дневной месяц. Будто видит его из колодца. Понял Колчан, что это был святой старец Николай Угодник...

Шел Колчан по земле в сторону месяца, шел день, шел другой, шел годы, дни ложились под ноги, как ковыли, тихо. Шел, питался как мог· где птицу убьет, где рыбу поймает, а где добрые люди накормят. Широк и богат Божий мир.

Как-то остановился в одной деревеньке, а там мужики между собой толкуют, что нет им теперь ни проходу, ни проезду, потому что атаманит в лесах девица — злодейка Ульяна, грабит всех подряд: едут обозы, она остановит их со своей шайкой, девиц побьет, а мужиков в рабство берет, в чужие земли продает. Совсем обезлюдела округа без людей.

Тогда Колчан незаметно вышел из села, раздобыл богатой одежды, нарядился купцом, купил тройку с бубенцами. А деньги сам не знает как достал: полез в торбу, а там вместо сухарей – золотые монеты — должно быть, по Николиному произволению.

Пришел он обратно в село, снял лучшую комнату, пошел в кабак – гуляет, всех угощает, деньги сыплет горстями богатый купец, да и только. Говорит, приехал приглядеть себе имение.

Дошел слух и до разбойников, что в селе объявился богач купец, лютой радостью возрадовались — давно не было у них добычи достойной. Засобирались тати нагрянуть ночью в ту деревню.

А Колчан зарядил пистолеты, приготовил свинцовую дубину, окна шкафами заставил, чтоб не набросились разбойники с тыла, и стал ждать.

Вот раздался топот коней, шум, топот сапог на крыльце. Трое дюжих разбойников навалились на дверь, дверь с грохотом рухнула. Первых троих Колчан повалил дубиной, кинулись еще трое — грохнул Колчан по одной голове, по второй, а у третьего, должно быть, была из колуна, сломалась дубина. Пришлось Колчану работать кулаками. Потом взялся за пистолеты — еще двоих уложил. Осталось всего двое разбойников у дверей, а другие двое караулят коней.

Бросились эти двое, что у дверей, бежать. Послал Колчан им вдогон еще один залп, да промахнулся.

Тут на шум-стрельбу набежали из изб люди, дивятся — восемь разбойников мертвыми лежат.

— Спасибо тебе, милый человек, за справедливое сердце, — сказали сельчане.

— Кто правду хоть раз в глаза видел, тот никогда ее не забудет.

Переоделся Колчан странником, перекинул торбу на плечо и тронулся в дорогу.

Вот шел, шел, шел Колчан, где травой-муравой, где глиной сырой, где песочком, где лесочком, и в пустыне голой на колдунов-разбойников набрел. Сидят три колдуна, как три кавуна, бороденки лысы, а глазенки лисьи. Напустили они на Ваню чары, и стал он дурень дурнем, ничего не знает, ничего не понимает, даже имя свое забыл.

— Ну, молодец, как звать тебя? — спросили колдуны.

— Не-е-е помню, — затряс Колчан головой.

— Козой драной или блохой поганой звать тебя? — засмеялись колдуны. — Это тебе за убитых разбойников. Платили они нам дань, а ты лишил нас достатка.

А Колчан стоит, ничего не понимает, о ком это они, о каких разбойниках? Глаза — белые, студенистые, отпущены куда-то далеко-далеко, на губах — глупая мокрота.

— Иди и живи таким дурнем, — сказали колдуны.

И пошел Ваня по песку, по барханам в Персию или еще куда. Голо, пусто в пустыне, птицы ушли с земли и неба. Захотелось ему есть, а в торбе — всего сухарик завалящий да соль. Посыпал он сухарик солью и съел. А соль эта была та самая, что Яга дала. Съел сухарик — и очнулся для жизни, память снова вошла в ум. И вспомнил он все про себя, как его звать и что было с ним.

А колдуны в то время навели на него свои мысли и увидели, что он жив остался и теперь

живет не беспамятным и блажным, а прежним целым человеком.

Завернулись колдуны в вихри и полетели к Колчану за его жизнью. Прилетели, когда Колчан спал, распеленались из вьюг, вышли костлявые, козлобородые, по плечам туманы плывут, над головой тайные колдовские звезды стоят. Остановились над Колчаном, дымы сна пустили на него — пусть спит, а они должны размыслить, что к чему, почему опамятовался их недруг.

Покопались в торбе, нашли соль. Все дело — в ней. В соли память хранится. «Давайте попробуем соли и мы — лишняя память не помешает», — сказал старший. И хватанули ту щепоть, где навечно заключена память всеобщая.

Только успели выйти от Ивана — и обезумели: тысячи лиц, дат, событий замельтешили в их памяти, перед глазами замелькали картины рождения мира: сначала ничего, потом гул Слова, Адам и Ева... Перед глазами замаячили старики, дети, колдуны и ведуны, кикиморы и кикиморицы. В общем, все, что было в мире, — разом вошло в них, оглушило и затмило ум-разум. Все слилось в одно, завертелось, закружилось. Все помнят колдуны, а где, что и как, не могут разобраться. Тысячи речей звучат у них в ушах, глаза видят одновременно и вверху, и под землей, и на земле.

Колчан, проспавшись, поднялся с земли, а они его еле видят среди миллионных толп.

Посмотрел Колчан на них, догадался, что с ними произошло, и тихо тронулся дальше, чтобы жить для правды.

Много стран он обошел, много земель, морей и рек повидал, а на Русь вернулся, потому что на чужой сторонушке клюют и воробышки.

И тут стало в сердце у него сомнение, мол, всего я навидался, все земли обошел, всех людей языки слышал, заморской красоты насмотрелся, а вот того света не видел.

Стала грызть ему душу тоска, стало сердце изнывать тоской-хворобой. «Не надо, не посмей», — шептал ему ангел-хранитель. «Вкуси, вкуси», — нашептывал бес с левой стороны. Не выдержал Колчан соблазна, проглотил третью горстку соли: и тут его душа вознеслась из тела, и оказался он в небесных воздухах, взглянул на землю, увидел пустыню. Идут по пустыне три колдуна и разговаривают с теми людьми, которые явились им из памяти человечества.

Еще дальше пролетев по крытой дороге, вдруг затормозил — стало так светло, что и тени не осталось.

— Грешник, ты как здесь оказался? — вдруг раздался чей-то голос грозный, всепроникающий. — Сбросить его в преисподнюю.

— Не по своей вине, по доверчивости он здесь, — объяснил мягкий голос Заступницы.

— Вернуть обратно.

Но обратно прежним человеком никто не возвращается. Куда долетела душа Колчана, где упала — там и проросла: упади она в воду — стала бы рыбой, упади в гнездо — птицей. А здесь, под пнем дубовым, зашевелилась бы боровичком.

* * *

Человек-гриб окончил свой рассказ, съежился и стал расти вниз.

— Что ты видел на том свете? — спросил его дядька. — Что там?

— Тайна это великая, — лепетал, все более уплотняясь, гриб. — Меня вернули бы человеком.

— А все-таки намекни.

— Ну ладно. Это как бы ты нигде и ты везде.

Рот у гриба закрылся, глаза затянулись, голова расплющилась и стала ярко-красной шляпкой крепкого гриба — подосиновика.

Зеленая гусеница быстро двинулась к грибу. Дядька подумал, что все это про жизнь Колчана ему примнилось, а такой хороший гриб жалко оставлять в лесу. Он нагнулся, чтобы сорвать гриб, но увидел на том месте тонкую щель, откуда струился мрак, куда, знать, и затянуло гриб и могло, как показалось грибнику, затянуть и весь мир.



В темном лесу, под корнями дубов жили в избе разбойники. Откуда ни подойдешь — не видно ее; где стены? — на улице — краюшки, в избе — ломотки.

Как-то раз прослышали: идет богатый обоз через лес и будто в обозе много дорогих товаров и золота, а охрана — мужики с дрекольями.

Собрались разбойники на сход, и сказал злодеям их атаман Косьмач:

— Братцы, берут завидки на чужие пожитки. Бедны мы стали, да и, что говорить, грехи-то сладки, да и мы на них падки. А посему: своя воля — велик простор. Не отобьем обоза — зимой помирать.

Стали они ждать в засаде купеческий обоз. Вот заскрипели колеса, и из-за поворота показались лошади и телеги, груженные добром.

Атаман свистнул молодецким посвистом — облако сдуло с неба, лес наклонило вниз, у птиц крылья отвалились.

— Гайда! — гаркнули разом разбойники.

Со всех сторон набросились разбойники, побили из пистолетов и саблями охрану, убили и купца, сняли с него енотовую шубу, стали делить добро — кто что унесет.

А один разбойник по имени Митяй под мешками увидел девицу — купеческую дочь, да такой красоты, что мертвая душа запела в нем: брови соболиные, шея лебединая, плечи гладкие, губы сладкие. Опешил Митяй перед такой красотой и не стал убивать, а взял с собою, решил жениться, поставить рядом с разбойничьей избой свою землянку и жить в утеху.

Всем злодеям приглянулась девица, а пуще всех Косьмачу, атаману. Заплакало в нем сердце его от тоски, не видел он нигде красивей этой девицы, а досталась Митяю, приблудному разбойнику, не молодцу-удальцу, а захмурыге — лесной шушыге. Подъехал он к Митяю и говорит:

— По моей атаманской воле отдай мне девицу. А я тебе взамен — мешок золота.

— Рад бы, государь атаман, — сказал ему Митяй, — да самому надобна. А золота на свете много.

— Но тогда заберу так.

— Нельзя, атаман, — зашумели вокруг разбойники. — А как же тогда уговор? Кто нарушит наш лесной уговор — от того и поруха.

Скрипнул Косьмач зубами, два зуба сломал, а

боли не услышал, а услышал в себе лишь угрюмь-тоску. «Ладно, не взял впрямую, возьму в обход, — решил атаман, — пошлю я этого Митяя договор с дьяволом заключить».

Вот и послал разбойника с дружком в Чертово болото, к водяному с грамотой своей, а в той грамоте написал, чтобы Митяя он оставил у себя в подводном царстве, а его дружка отпустил назад.

Пришли разбойники к Чертову болоту, к бесову помёту, к тихому броду, к подводному входу Три раза свистнули, три раза крякнули, три раза вздохнули, поклонились три раза ворону, перекрестились в обратную сторону· запустил их водяной к себе в комнаты. В комнатах кости человечьи изукрашены драгоценными каменьями, по стенам развешаны мертвые глаза. А под одной черной стеной на черном троне сидит дьявол, во рту вместо зубов — горящие уголья, на волосах пепел дымится. Сам дороден-козлобороден.

— Здравствуй, батюшка Сатана! — сказали ему разбойники. — Подпиши с нами договор.

— Что-о-о! — только и сказал дьявол, схватил стакан и, выпив адского зелья, не глядя подписал договор, в котором было сказано, что Косьмач отдает свою душу Сатане за любовь купеческой дочери.

Водяной почтительно поцеловал подпись Сатаны и передал грамоту разбойникам.

— Идите! — махнул толстой, щетинистой рукой дьявол, по его мясистому носу тек, похожий на мочу, пот.

Вышли разбойники из подводья и понеслись в лес.

Встречает их Косьмач, удивляясь, что водя-

ной не исполнил зарока, не потопил у себя Митяя. Заскребла ему сердце обида: вышло, что обманули его, душу купили, а девицу не дали. А тут гонец-ветер прилетел от водяного, письмо принес, а в том письме написано, чтобы послал атаман Митяя на речку рыбу ловить на броде — он там и утопит Митяя.

Догадался Митяй, зачем его посылают. И девица-краса его упредила — она умела подслушивать чужие мысли. Зашел Митяй на брод рыбу ловить, а сам привязался веревкой к дереву. Только наловил он рыбы, как водяной его ухватил за ногу и поволок в омут топить. А веревка держит, никак водяной не утащит, тянул-тянул да и руку себе оторвал, заплакал от горя и боли да и уплыл в болото.

Сидит атаман рядом с девицей-красой, любуется, разные угощения подносит: золотые персики, прозрачный виноград на серебряном блюде.

— Кушай, госпожа-красавица, кушай, поправляйся, а я ради тебя на все готов.

А она из его рук ничего принять не может: глянет на них, а по пальцам атамана течет кровь человеческая, кровь ее батюшки и матушки. И мысли его слышит, а мысли те черные, утробные свиваются, как змеи, в один клубок и шипят: «Тебя хо-чу-у».

Вернулся Митяй с рыбой — опешил атаман, а потом позеленел от злобы: «Да как же он живым явиться посмел!» Взял он корзину с рыбой и зашвырнул в помойную яму.

— Негоже, атаман! — зашумели вокруг разбойники. — А мы уже рыбкой побаловаться настроились.

Понял Косьмач, что дал промашку: эдак зашумят и вовсе другого атамана выберут. Решил

притвориться, велел помогать Митяю для семьи землянку строить, да поскорее.

А сам с досады пошел спать. Только заснул, видит: согнулся воздух, земля расступилась у ног, и из этого раструба вышел сам дьявол.

— Не горюй. Я уговор блюду. Выроет Митяй землянку — я его в ней захороню.

Услышала девица-краса эти слова дьявола в атамановом сне, стала думать-гадать, как бы Митяя выручить, а с ним и себя, — и надумала. Велела Митяю все делать, как она скажет.

Вот вырыли землянку глубокую, хорошую, накрыли сосновыми бревнами. Пригласила она всех разбойников с атаманом вместе на новоселье. А как выпили ведро водки, велела всем в бубны бить, шаманить, чертей всех с Сатаною вместе звать на шабаш.

Пьют разбойники, а она больше всех Косьмачу подливает вместе с сонным зельем. Пьет не пьет, а видит: полна землянка чертей, а рядом с ними — сам дьявол, козьим потом пахнет, угаром.

— Что, брат атаман, я зарок свой исполняю, — говорит, а сам себе уже представляет, как вставит в белую рамку черную душу Косьмача и повесит ее у себя в кабинете.

— Мы свой уговор помним.

— И я помню, ничего тебе не забуду.

Вот пьют, пьяными в стельку стали. Девица-краса незаметно подмигнула Митяю, вышли они наружу, подпалили динамит — как грохнул взрыв: бревна вместе с разбойниками вверх полетели. Всю землянку завалило. Одна воронка осталась: черти в ней покалеченные кричат, и дьявол, теперь от пыли и крови видимый, кряхтя и постанывая, вылез из-под земли — руки пере-

биты, а в зубах держит, как овечью шкуру, черную душу Косьмача. Душа висит в зубах, корчится, сверху черная, снизу красная.

— Что-о? — озирается дьявол. — Где я? Что я?

— Едем быстрее отсюда, Митяй, — сказала девица-краса своему содельнику.

Сели они на тройку и помчались в город, где был у красавицы-сироты дом и красный петух на нем, стоит на веретёшке, считает дорожки, зарю выглядывает, хозяйку поджидает.

Вот приехали. Завела она Митяя в дом, напоила его вином. А отпустила ль или в мужьях оставила — никому не известно, потому что это было еще тогда, когда с неба вместо звезд падали жареные утки, закусывали щуками пескари и жили еще дурачками главари.

Не зря сказано: чего не было, то было, а что есть — то будет.

# СОДЕРЖАНИЕ



**РАЗБОЙНИЧЬИ СКАЗКИ**

*Пересказал Владимир Цыбин*

Редактор *С. М. Суша*
Художественный редактор *М. П. Тихонов*
Технический редактор *Т. М. Сергеева*
Корректор *Т. М. Павлюченко*

Сдано в набор 15.03.93. Подписано в печать 28.04.93. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2 Сыктывкарского ЛПК. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 6,8. Тираж 50 000 экз. Заказ 88. Издание подготовлено на персональных компьютерах в издательстве «Современный писатель» 121069, Москва, ул. Поварская, 11. Тульская типография, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.





